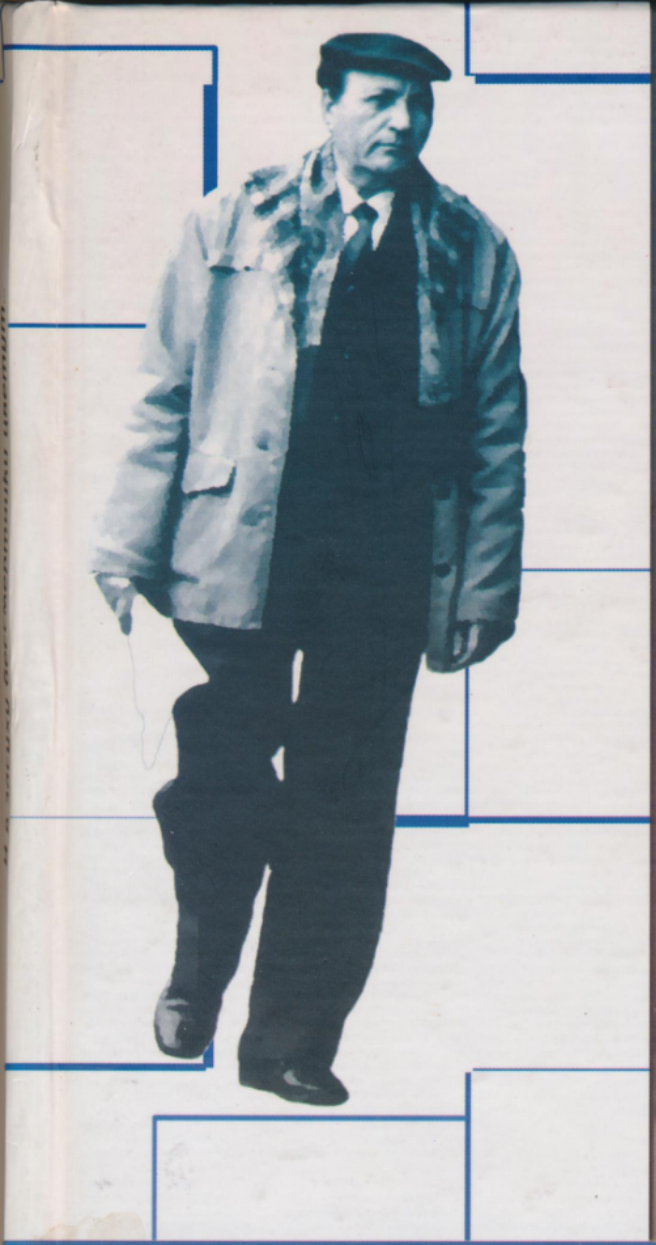


И в засуху бессмертники цветут...

К 80-летию писателя
Анатолия Знаменского

ВОСПОМИНАНИЯ

SHOUT
SHARE
IT

- И в засуху бессмертники цветут...
- Владимир Архипов
- Виталий Бакалдин
- Иван Бойко
- Иван Дроздов
- Александр Мартыновский
- Иван Мутовин
- Вадим Неподоба
- Кронид Обойщиков
- Геннадий Пошагаев
- Петр Придиус
- Виктор Ротов
  -
  - 1. Некоторые откровения
  - 2. Перевертыши за работой
  - 3. Титаны и пигмеи
  - 4. Битва в пути
  - 5. Под знаменем Знаменского
- Валим Евдокимов
- Ольга Знаменская (дочь писателя)
- Антон Казьмин
- ПИСАТЕЛИ О ТВОРЧЕСТВЕ А. ЗНАМЕНСКОГО
- ЧИТАТЕЛИ ДОНА О РОМАНЕ «КРАСНЫЕ ДНИ»
- ПАМЯТИ ПИСАТЕЛЯ-ЗЕМЛЯКА
  -
  - ИЗ КАЗАЧЬЕЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ
  - НАГРАДЫ И ПООЩРЕНИЯ А. Д. ЗНАМЕНСКОГО
- ИЗ ПОСЛЕДНИХ ПУБЛИКАЦИЙ
  - Анатолий Знаменский
  - ВСЕ НЕ ТАК, РЕБЯТА (Сакральный взглял на эпоху, или Откровение от Иосифа у чистилища)
  - СЛОВО И МЫСЛЬ В РЕЗЕРВАЦИИ, ИЛИ МОНОЛОГ В НАМОРДНИКЕ…
  - В РОДНЫХ МЕСТАХ (рассказ)

И в засуху бессмертники цветут...
К 80-летию писателя Анатолия Знаменского
Воспоминания

Владимир Архипов
ПАМЯТИ ПИСАТЕЛЯ АНАТОЛИЯ ЗНАМЕНСКОГО

«Он, Знаменский, — с нами как знамя!»

Любил ты стоять на кургане.
Здесь мысль и остра, и свежа.
Курганы, как будто Иваны,
Как витязи, Русь сторожат.
Любимый бессмертник на взгорье,
А рядом шиповник багров, —
Стоит он в бессменном дозоре,
Горит, как пролитая кровь.
Отсюда ничтожнее лепет,
Что Русь безнадежно больна.
Ты верил: как зорька над степью,
Как радуга, вспыхнет она!
Болея душой за державу,
Имея характер бойца,
Ты выбрал великое право —
За правду стоять до конца.
Потомкам — правдивые вести —

Таков летописца удел.
О жизни казачьей, о чести
Ты дивную песню пропел.
Не сетовал ты на судьбину.
А силу в страданьях обрел.
Для нашей Отчизны отныне —
Ты — русского духа орел!
Героям — священная память!
Гори над курганом, звезда!
Он, Знаменский, — с нами, как знамя!
Отныне! Навек! Навсегда!

Виталий Бакалдин
СЧАСТЬЕ ТВОРЧЕСКОГО БЫТИЯ
(Обращение к другу)

«…Я восхищался твоей целенаправленной мудростью в оценке событий в стране и случившейся с тобой преступной несправедливости»

Прошедшее и свершившееся не терпят, не допускают сослагательного наклонения. И все-таки я рискую вообразить, представить себе, как бы все это происходило в одном из престижных краснодарских залов…

Как водится, звучат приветствия и адреса, обращенные к юбиляру, на сцену несут свежие майские цветы и сувениры, выступают лица официальные, казачество, посланцы творческих коллективов и мы, товарищи по перу…

Читают стихи Вадим Неподоба и Кронид Обойщиков, лирично вспоминает давнее прошлое Виктор Логинов, с присущей ему пылкостью изливает душу Иван Бойко, поет дорогие юбиляру песни друг и поклонник Анатолия Дмитриевича певец Вадим Евдокимов… Нас много, желающих сказать свои несколько слов, и в одном ряду со всеми находится место и для

моего обращения.

Восьмидесятилетие — это многие годы жизни и многие книги, тысячи и тысячи отвергнутых и принятых собственным сердцем рукописных страниц, это мысли, выношенные и выкоханные, — мысли не с налета, не с кондачка, а плод увлечений, разочарований, а для человека слабого духом — просто неподъемный, но осиленный тобой груз житейского опыта.

Сколько раз ты открывал мне свои «сердца горестные заметы»! Не личные судьбы волновали нас, хотя они неотделимы

от времени, нас взрастившего, а глубоко осознанное понимание огромности беды, катастрофы вселенской, навалившейся ныне на Родину и народ. По сравнению с тобой, при всем том, что выпало на мою долю, все-таки «счастливый баловень судьбы», я восхищался твоей целенаправленной мудростью в оценке событий в стране и случившейся с тобой преступной несправедливости. Юный узник ГУЛАГа, ты идеологическими оппонентами величаешься то «сталинистом», то «казачьим урядником», то вообще «черносотенцем». Понятие «патриот» в лексике клеветников отсутствует. Что ж, могу засвидетельствовать твое глубокое уважение к личности Сталина и его великой роли созидателя могущественной сверхдержавы.

— Виталий, пойми, — говорил ты мне, закачавшемуся под сквозняками хрущевского скудоумия, — Сталин — сам жертва исторических обстоятельств, диктующих ему его поступки, плюс еще всякого рода русоненавистников — предателей, уродовавших идею и приведших в конечном итоге к тому, что мы имеем сегодня. Пойми! (Опять твое любимое словцо и указательный палец мне в грудь). У нас ничего не было для самозащиты. Ни — че — го! Бери нас голыми руками! Бей, как били сплошь неграмотную Россию японцы и немцы в тех войнах, что привели к стихийным катаклизмам похлеще пугачевских, и лишь Ленину и его партии удалось собрать эту необузданно разгулявшуюся стихию в русло революционной государственности… А на создание индустриальной страны для своей самозащиты, с окончания Гражданской в 1922 году до начала Отечественной войны в 1941 году, история отпустила микроскопический отрезок времени в 19 лет, и то сотрясаемых бесчисленными военными стычками… Империализм, прозападная патологическая ненависть к России, вековечная цель разъять ее, расчленить, уничтожить определяли линию поведения Сталина, отпуская ему лишь мгновения для принятия решений…

В приведенной выдержке, признаюсь, твои и мои мысли слились воедино.

Случилось так, что в больничном стационаре ты долго лежал

в одно время с моим отцом Борисом Александровичем Бакалдиным, человеком, повидавшим многое и многих. Он был захвачен твоим повествованием «Красные дни», сказав мне: «В книге дыхание времени… Я все узнаю…».

А после долгих бесед с тобой обронил о тебе высочайшую похвалу: «Умен… как бес…». Речь шла отнюдь не о какой-то озлобленности твоего ума, а выражалось восхищение твоей ясной прозорливостью, проникающей в толщу лет, точностью и меткостью оценок, ядовитым скептицизмом, увы, совершенно оправданным в первые же годы предательского горбачевского хаоса… И еще я хочу вспомнить, как в той же больнице, навещая тебя, я поведал небольшой, казалось бы, эпизод из последнего срока моего пребывания народным депутатом.

В одной из станичных школ в административной черте Краснодара вдруг обнаружилось, что местный пятиклассник вот уже аж целый год, без всяких на то уважительных причин, не посещает школу. Боже мой, что тут поднялось! В станицу помчалась кавалькада «волг»: представители горкома, райкома, завгороно и я как депутат… Кинулись в школу, в семью, в сельсовет!

Как же — ЧП общекраевого масштаба!

Из всех моих товарищей вас двое — Анатолий Знаменский и Виктор Логинов — как-то особо горячо приняли к сердцу сей эпизод и наставляли меня обязательно написать о нем, ибо видели в этом частном случае вершинное завоевание Октября. Тогда я не внял вам, а теперь вот вспомнил.

Ты опять втолковывал мне: «Пойми! Суметь за какие-то две-три пятилетки, начав с нуля, создать массовое производство моторов, самолетов, танков, радиотехники, оптических прицелов без всяких там Цейсов — это чудо! А взрастить людей, овладевших всем этим, оснащенных знаниями, — еще большее чудо! Теперь же мы очень скоро одичаем… Под горку катиться — не крутой подъем брать… Падать легко и просто… Ни ума тебе, ни усилий…». Знания, постижение наук, кругозор дались тебе выстраданно, в муках, и ты хорошо знал высокую цену им, ты саркастически ехидничал в адрес отступников с высшим образованием: «Расплодившиеся на государственную дармовщину дипломники — интеллектуалы, «пе- рестроясь», тут же по — лакейски глумлением воздали Советской власти за эту дармовщину…». Сегодня мы сполна пожинаем плоды сего лакейского предательства. Говоря об одичании, ты еще не имел далеко не полных официальных данных ЮНЕСКО о двух миллионах бездомных детей в одной лишь России, без учета других территорий так называемого СНГ! Да, под горку, гремя и

разваливаясь, мы катимся стремительно и безвольно…

Я затягиваю свое слово. Да ведь это лишь крохотная частица того, о чем я могу вспомнить.

Я хочу и поругать тебя: зачем ты не жалел своего сердца, придавая слишком большое для тебя — Знаменского — значение всякого рода бульканью окололитературных дрязг. Ты сам язвительно окрестил самовлюбленных мастеров сего малопочтенного времяпрепровождения убийственным обобщающим прозвищем «нарциссов — прохиндеев». Мы живем и работаем, не держа их в голове, не думая о них и не вспоминая. Их же и медом не корми, а дай им с постной христианской смиренностью пройтись наждаком по твоему сердцу. И, хочешь не хочешь, сердце кровоточит… Я всегда просил тебя: «…Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспоривай глупца».

Древняя мудрость о всесилии времени, все расставляющего по своим местам, вечна. «Материалист и вольтерьянец» Александр Сергеевич Пушкин взлелеял в своем русском сердце и оставил нам в наследство еще одну непреходящую истину: «… Душа в заветной лире мой прах переживет и тленья убежит…». В совсем иную эпоху другой поэт повторит сию истину языком уже своего времени, пожелав, «умирая, воплотиться в пароходы, в строчки и в другие долгие дела».

Ты воплотил себя в своих строчках. След их в жизни долговечен. И в этом счастье творческого бытия…

Иван Бойко
СЛОВО О МАСТЕРЕ

«Он всегда был в центре внимания, где бы, в какой бы аудитории и в какой бы момент ни появился»

В кабинете каждого писателя для меня, как, пожалуй, и для каждого пишущего, в каких-то особенных деталях, в дорогих сердцу вещах как бы «зашифрована» судьба его, кроется «тайна» сути мастера художественного слова; внутренний мир именно этого художника, как выразителя Духа своего времени и своего народа…

Почему А. Знаменский для своего века стал тем, кем мы знаем его сейчас? Чтобы ответить на этот вопрос, я всякий раз присматриваюсь к вещам и любимым предметам, сопутствовавшим писателю при жизни. Оставшиеся в кабинете писателя либо на подворье… Будь то часы на письменном столе А. С. Пушкина, оставшиеся навечно после трагической дуэли на Черной речке; диван, на котором больной Некрасов провел последние дни и часы, и разрозненные книжки журнала «Современник»; или огражденный по краям барьерчиком

письменный стол в подвале дома великого русского писателя Л. Н. Толстого, по — моему, богочеловека по своей высочайшей духовности; и скромный могильный холмик над его прахом под «трехсотлетним» дубом в Ясной Поляне; или мундштук с недокуренной сигаретой на письменном столе вешенского гения и огромная гранитная глыба во дворе, на которой выведено одно — единственное, знаменитое на весь мир слово — «Шолохов»…

… Кабинет Знаменского, в котором я бывал не раз, производил на меня впечатление выстуженного помещения, наполненного

духом печальной судьбы зэков. Помещения, набитого книгами, и в то же время — ничего лишнего до аскетизма. До предела «выжатая» библиотека в неглубоких книжных шкафах, в которых остались только самые — самые, «вершинные», произведения мировой литературы.

На одном из шкафов книги и портрет Шолохова с носом беркута и взглядом всепонимающим и вселюбящим. Его же бюст, отливающий металлическим блеском на письменном столе, всегда прибранном и опрятном. На книжной полке крайнего от двери шкафа — портрет Василия Белова с окладистой бородой русского пасечника…

Анатолий Дмитриевич тотчас поймал мой заинтересованный взгляд: «Учти, Иван, — это живой классик! — воодушевленно заговорил он. — Из прозаиков выше его сегодня нет! А самый большой поэт — Юрий Кузнецов, — и он сунул мне в карман новый сборник знаменитого тихоречанина. — Как прочтешь, — сразу верни. Иначе больше никакой книги от меня не получишь!».

Рабочий стол Знаменского был особенно чист и отполирован до блеска локтями трудолюбивого мастера. И на нем всегда ослепительно белел только что начатый или исписанный до половины красивым почерком автора свежий листок бумаги. Писатель с нежным удовлетворением и любовью прокомментировал мой искренний восторг: «Мой отец был штабным писарем в казачьем полку. Вот он: смотри! — с гордостью показал он пожелтевший от времени потрескавшийся снимок па старинном твердом картоне. Я поразился сходству Анатолия Дмитриевича с отцом, жаль, только у него не было усов. — Здесь он в казачьей форме. В полку у них в то время пишущих машинок не было. Все приказы, рапорты и прошения писал своей рукой. А каллиграфическим почерком отличался еще в гимназии. И меня приучил писать красиво».

За спиной писателя, на обоях, в тонкой, почти растворяющейся среди цветов рамке висела потрясающая картина: одинокий на бескрайнем косогоре, раздавленный

гусеницами танков, но уже оживающий розовым цветом куст иван — чая. Очень впечатляющая кар

тина! Весь косогор «изжеван» гусеничными траками, точно сатанинскими зубами. А куст иван — чая просвечивает на нем как солнце среди черных отвалов.

Этот, как бы оживающий, куст заставляет смотреть и смотреть на ту картину! А перед глазами писателя, на свободной на ширину стола стене, между окном слева и книжным шкафом справа, другая, еще более впечатляющая картина в такой же рамке: оглянувшийся в кровавом страхе за сраженного хозяина, вставший в горячем разгоне на дыбки белоснежный боевой конь. Среди свежевывороченных комьев земли и дымящихся воронок не тотчас отыщешь зарубленного казака. А кромку горизонта, куда оглянулась изумленная лошадь, за кровящим черными ранами простором ярко замыкает в предвечернем небе полыхающий хутор.

Вот, кажется, и все, что было в рабочем кабинете Знаменского…

Эта картина поднимала во мне и поднимает сегодня, как вспомню! — бездну болючих незатихающих вопросов… Почему так устроено мироздание?.. Почему мы так живем под Божьим оком на Земле?.. Человек столько претерпел несправедливости!

В семнадцать лет Анатолий Знаменский был арестован за какое-то слово, за какой-то школьный рисунок! И восемнадцать лучших своих лет промораживался на Крайнем Севере! У Человека была растоптана юность! У Человека была надломлена жизнь! Но он не сломался! Не потерял веры в человеческие идеалы, в бо- жественно — человеческое устройство жизни на планете Земля. Он сохранил на всю жизнь приобретенный в школьные годы оптимизм. А те, кто числился в «первых рядах», кто был у власти, на самом верху и у подножья «тоталитаризма», кто купался в роскоши, хапая обеими руками все возможное, «они» почему-то в одно мгновение перестроились; начали расхапывать общенародную, добытую многими поколениями людей всенародную государственную собственность. «Они» «перестроились» враз, как по взмаху волшебной палочки; повыбрасывали, пожгли или припрятали до времени в потаенные места свои «хлебные (партийные) книжки».

А он вступил в Коммунистическую партию, из которой уже один за одним и целыми косяками выскакивали и бежали, как крысы с тонущего корабля, всякие егоры Гайдары, гавриилы поповы, Виталии коротичи, держа по — звериному нос «на зеленый ветер». Он взял партийный билет, как Микула — Селянинович взял богатырский меч — кладенец, и до последнего

дыхания сражался завещанным русским словом в каждом своем произведении и, как главный герой главной его книги полководец Миронов, был отравлен подлым «искариотским» словом!..

Внешне Знаменский был всегда чист и опрятен. Выбрит до синевы. И словно бы заострен. Как казачий клинок. И было ощущение, что он как бы впечатан в наш двадцатый век, в наше революционно — тоталитарное время. Отполирован тысячью судеб узников нашего времени. Он всегда куда-то спешил. Хотя порой сидит неподвижно и внимательно над чьей-то рукописью. Не шелохнется. Чтобы не пропустить, не вспугнуть какую-то мысль. Я вспоминаю, как он работал главным редактором журнала «Кубань». А редактор он был отменный. У меня до сих пор хранится одна из моих рукописей с его пометками.

Он всегда был одет, как говорится, «с иголочки». Ничего лишнего. И — ничем никогда не выделялся среди литературной братии. В отличие от некоторых «переделкинских» и «апрелевских» знаменитостей в павлинье — клоунских одеждах. С множестом заморских застежек, карманчиков, откидных и съемных воротничков, в прозрачно — кружевных рубашках с огромными и яркими, как у клоунов, галстуками, с тысячами пуговичек всевозможных размеров и фасонов.

Но более всего мне запомнились казачья папаха серого каракуля и точно такой же воротник пальто. Запомнился также плащ стального цвета. Какие-то простые безрукавки. И еще запомнилась его папка. Тонкая! И кажется, всегда острая, как он сам.

Но, несмотря на аккуратно — неброский свой вид, он всегда был в центре внимания.

Он всегда был в центре внимания, где бы, в какой бы аудитории и в какой бы момент ни появился. В кипящем ли народом фойе писательской организации или на собрании на трибуне. А на трибуне он загорался и бледнел особенно и, казалось, жил стихией мысли и слова. Или на аллее посреди кедрово — сосновой рощи в подмосковном Доме творчества — Переделкино. Или в Сочи, на даче краснодарской писательской организации. Или в массе простого народа в электричке: он всюду и всегда оказывался в центре внимания!..

Он обладал какой-то магической притягательностью и собирательной энергией. Немедленно привораживал к себе! И «левых», и «правых», и «центристов», и «нейтралов». Как притягивает к себе металлические стружки магнит. И немедленно все нити разговора, какого бы направления он ни был (о каком-то романе, о поэме, по физике ли, химии, космонавтике, или о каком-то военном сражении), вдруг немедленно оказывались «в

его руках».

Главными причинами такого его магнитического притяжения были, думаю, природный казачье — крестьянский ум; хватка атамана, предводителя (он рассказывал: Знаменских часто выбирали на Дону в атаманы!); его сломанная, отражающая судьбу русского народа, необычная судьба; приобретенные на Крайнем Севере, в лагерях, его уникальные энциклопедические знания…

Иван Дроздов
«ЖИТЬ ПО СОВЕСТИ, ПО ЧЕСТИ, ПО ПРАВДЕ»

«Ушел из жизни Анатолий Дмитриевич, словно бросил вызов равнодушным: «Думаете, само собой рассосется?

Нет, не рассосется…»

Нет с нами Знаменского. Знаменский с нами!..

Шесть лет с тех пор прошло, как его не стало. А помню, как сейчас…

Едем мы к нему в Хадыженск. Я за рулем. Он — рядом.

Молчим. Я сосредоточен на дороге. Он в задумчивости. Как бы в предощущении чего-то, а может, в воспоминаниях горького прошлого. Едва ли его жизненные неурядицы будут понятны сегодня. А тогда…

На выезде из Краснодара, у поста ГАИ нас остановили. Я выхожу из машины, ко мне подходит сержант милиции и вежливо просит взять в машину пару пассажиров.

— Что вы?!. — тоже вежливо отвечаю я. — Со мной едет сам (!) Знаменский!

— А — а!.. Тогда поезжайте! — несколько стушевался сержант и взял под козырек.

То ли он знал Знаменского, то ли на него произвело впечатление слово «сам»? Да и наша «Волга» была правительственного образца, черного цвета, к тому же еще и в экспортном исполнении — с никелированной окантовкой по кузову.

Анатолий Дмитриевич выдержал паузу, а как только мы отъехали от ГАИ, ухмыльнулся.

— Хм! И как это ты?.. — проговорил он, крутнув головой.

— Получилось как-то…

И я как бы отмахнулся от забавного эпизода. Мне хотелось продолжить наш разговор, начатый еще у меня дома. Тема щекотливая. А при посторонних…

Дело в том, что мы с ним чуть ли не всю ночь «прокоротали» за разговорами. Благо у меня квартира однокомнатная, и мы могли разговаривать, лежа в постели.

Жена моя Рая под наш гомон не раз засыпала и просыпалась. Словом, спала неважно. Но ни разу не упрекнула нас. Она глубоко уважала Анатолия Дмитриевича за его всегдашнюю деликатность, за ум, за умение рассказывать… Извиняясь за причиненное беспокойство, он забавно так оправдывался:

— Не могу же я нести в гости скуку!

Он относился к Рае неизменно уважительно за ее радушие и гостеприимство. Соревновались в умении заваривать чай. Знаменский научился этому искусству на «северах». Делал он это с «чувством, с толком, с расстановкой». Рая училась и удивлялась его умению.

А рассказчиком он был интересным: слушаешь его, словно захватывающий роман читаешь. По словам Раи, Анатолий Дмитриевич в этом даже Виктора Астафьева превосходил.

Во время Дней советской литературы на Кубани Знаменский пригласил нас, меня и Раю, в гостиницу навестить его старого друга Виктора Петровича Астафьева. В ту ночь мы до утра просидели в номере. Что и говорить — Виктор Астафьев был неиссякаем в своих устных рассказах. На мой взгляд, они оба — и Знаменский, и Астафьев — были одинаково талантливыми рассказчиками. Всю ночь проболтали, перебивая друг друга: «А помнишь…».

Когда его долго не было, Рая озабоченно спрашивала:

— Неужели у вас так долго заседания бюро не было?

Анатолий Дмитриевич был на протяжении многих лет членом бюро писательской организации и заместителем ответственного секретаря. Так что обязан был быть на всех

заседаниях. После заседаний он шел ко мне на ночлег. Вот уж где мы давали волю своим разговорам. Говорили обо всем — о Миронове, о Троцком, о «детях Арбата», которые опять вернулись на Арбат…

…Хотелось, чтобы Анатолий Дмитриевич затеял этот разговор, и сейчас, в дороге. Я мельком скосил на него глаза.

Анатолий Дмитриевич сидел с устремленным вперед взором. Наконец проговорил в продолжение каких-то грустных своих мыслей: «Как бы эти детки не натворили больших бед, чем их отцы…».

Мы ехали уже по поселку Кутаис. Дорога шла по гребню хребта.

— Во!.. — восхитился Анатолий Дмитриевич открывшимся перед нами пейзажем.

Отсюда, с горного хребта, вся даль видна. Долина с редким изрядно порубленным лесом, «умудренные» морщинами скалы, мрачное ущелье с еще не растаявшей дымкой утреннего тумана; сверкающий бисеринками «битого стекла» водопад, мирно пасущееся на лужайке стадо коров, у куста можжевельника лежит овчарка, стерегущая стадо, рядом пастух варит на костре себе завтрак. Над костром вьются струйки дыма. И над всем этим — небо без единой «помарки».

Знаменский затих. Он способен восхищаться даже легчайшей дымкой утреннего тумана. А тут… Душа и небо обнялись. Казалось, вся глубь Вселенной перед тобой открылась. Все скорби и беды глохнут в таком бескрайнем просторе.

На сельской улице — люди.

— …Истоки каждого писателя в народе, вот в этих простых душах. Их даже литература одесситов не испортила, не научила скрывать свои чувства за банальными словами.

Опять на некоторое время умолк в глубоком размышлении и уже спокойнее продолжал:

— Если бы не Сталин… Видно, Бог нам его послал, этого русского из русских грузина Иосифа Виссарионовича Сталина. Вот уж кто был настоящим русским патриотом. Патриотом великой России. Он, он защитил нас от сионизма! А от фашизма уж мы сами, во главе же с ним, защитились.

Взглянул на меня, и как бы извиняясь, добавил:

— Я-то в то время мытарствовал в лагерях, тянул срок. А ты… Ты погибал под Сталинградом…

— Было такое, было… — вспомнил я свои военные пути — дороги. Знаменский покивал согласно. Он думает о чем-то о своем. Я его слушал, а сам примеривался, как лучше перескочить

деревянный мостик с проломленной доской, перекинутый

через вспененную горную речушку. Проскочить так, чтобы не провалиться колесом в зияющую дыру.

Зато на равнине дорога прямая, как стрела. На ней в сон клонит.

В окно потянуло милым запахом увядания скошенных трав. Равнина вся в свете белых берез. Ни ветерка. Вода в озере, — как гладь стекла.

— Останови! — просит Знаменский.

Сворачиваю на обочину. Выходим из машины.

Притенив глаза рукой, — оглядывает местность. Смотрит щурясь…

Небо безоблачно и синее — синее, как в сказке. Знаменский молчит, оцепенев от волнения. Только он умеет так «разговаривать» с тишиной.

Наконец, осуждающе бросает:

— И чего человеку надобно?! Живи и радуйся! Так нет же… Он затевает распри, междоусобицы, войны…

Лицо его печально.

— Да еще какую великую войну мы выиграли, — подводит он итог своим мыслям.

Мои воспоминания, мои горькие думы прервал шорох осыпавшейся гальки из-под ног Знаменского.

Он оглянулся на меня, сказал:

— Не будь активного, воинствующего иудаизма, не существовало бы и еврейского вопроса.

Он расстроен. Смотрю на него и гадаю: что? что его душу всечасно гнетет?

— Они… Это они упекли меня в лагерь. А потом они же и пытаются мне втолковать, что во всем виноват Сталин, — в продолжение своих тяжких мыслей вслух возмущается.

Он сутулится как бы под грузом воспоминаний.

Молодость его оставила ему столько обид, и обиды эти, давно перекипев, лежали теперь в его сердце, затвердев, как камень. Они не то чтоб волновали, но тяготили.

…Север. Промозглый лагерь с морозным инеем по углам барака. Душу мертвой хваткой сковывает ужас безысходности. Он мысленно кричит, просит пощады у бурь, у леса, у всего, чему внемлет природа. Но небо и зима немы. Только ветер, как голодный, продрогший пес, жалобно воет в колючей проволоке.

Брань — «русопятство», «идолопоклонство» — он познал на собственной шкуре. И ярлыки эти отпечатаны на его челе.

Бежать — медведь обнимет — пить запросишь.

В лагерях работал, да так, что «трещал крестьянский пуп».

Кто-то подсунул ему Евангелие и Талмуд.

— Сравни, — посоветовали солагерники, с загадочной ухмылкой добавили:

— Запомни! Обе эти книги запрещены.

Это еще больше раззадорило юношу: запретный плод сладок.

Знаменский с жадностью накинулся на Евангелие. Читал эту древнейшую книгу из книг, словно с умным собеседником общался. Все наставления «собеседника» были созвучны его, Знаменского, душе. Православное христианство, призывая к созиданию своей духовной личности, заповедует человеку и здесь, на путях этого созидания, различать Добро и Зло, а истинно полезное от мнимополезного, вредного. Свое здоровье, силы, способности, природные свойства и качества — все это употребить не для своего «я», а для других. Ибо законы Небесной Правды противоположны законам земной выгоды. Приобретает тот, что раздает и благотворит. «Возлюби ближнего своего, как самого себя». В работе над собой, над своей духовностью не может быть конца. Вся жизнь христианина

есть беспрестанный подвиг нравственного самоусовершенствования. Но всегда надо помнить, что такая святость дается не сразу, но — постепенно. Серафим Саровский советовал: «…Все делай потихоньку и не вдруг, добродетель не груша, ее вдруг не съешь».

Не зря Александр Сергеевич Пушкин воскликнул: «Великий духовный и политический переворот нашей планеты есть христианство. В этой священной стихии исчез и обновился мир».

Народный идеал — жить по совести, по чести, по правде. Лишь будь человеком и хватит сего!

— А что сказал бы Александр Сергеевич Пушкин о Талмуде? — Знаменский взглянул на меня: понимаю ли я, о чем он говорит?

О Евангелии я и сам знал немало. Как-никак моя мама была дочерью священника. Я с детства запомнил цитату из Евангелия: «Слово — это свет для человечества… и тьме его не поглотить». А вот о Талмуде…

Я выжидательно уставился на Знаменского. А он вроде бы уже и забыл, о чем речь.

— Вообще вся русская жизнь — это не жизнь права, а жизнь долга, — в ответ на какие-то свои мысли проговорил Знаменский и опять умолк.

Так и сидим в молчании, прислушиваясь к шорохам и предавшись созерцанию.

Сколько веков стоят эти угрюмые скалы, будто сомкнутые щиты непобедимой дружины, охраняющей озеро. Как сама

православная вера вросли они в плоть земли. Только они: скалы, озеро, уходящее в глубь гор ущелье — могут соединить время и чувства людей. Глядя на них, слышишь, как в душе церковным звоном заливается благовест. Вместо размышления о бренности существования у меня появилось ощущение беспредельности мира.

— Надо понять себя как русского человека, надо освоить всю свою родословную, опереться на своих предков, — приземлил меня мыслью вслух Знаменский.

Но я вроде бы как и не расслышал. Пустошь неба, прояснившееся ущелье, где от утреннего тумана не осталось и следа, приятно

грело мою душу, навевало покой и окунало в сладкие и далеко уводящие размышления.

— Ты что, не слышишь меня?!

Я взглянул на него. Вроде тот же лоб, и те же глаза из-под насупленных бровей, но взгляд, полный отчаяния и боли. Он смотрел в упор, скулы напряжены.

— Но ты же о Талмуде так ничего и не рассказал, — начал оправдываться я.

— Разве?! — несколько оттаял он.

Вообще-то Знаменский был кремневого упорства, но уж очень ранимый; очень ранимый. Вот и сегодня, поняв мое смущение, уже по — дружески винясь, проговорил:

— Ты уж извини… Мои мысли при разговоре о Талмуде сбиваются. Я возгораюсь негодованием. Старею, старею… Видимо, уже не чувствую ответственности одного дня перед другим.

Хотя ему в то время едва, едва перевалило за сорок. И он еще обладал прямо-таки юношеской остротой восприятия мира. У него поэтический взгляд на природу, людей… А это очень важно — взгляд!

— Вот смотрю я на тебя и думаю: стоит ли этим Талмудом портить тебе настроение?

— Вали!.. Коль замахнулся, руби! Я не из робких.

— Тогда давай присядем вон на то поваленное дерево, — предложил он.

Сели. И он рассказал.

…Глухая тайга. Морозная черная ночь. Кажется, что даже звезды в небе мерзнут. В расщелинах лагерного барака скулит ветер. В бараке из почерневших от времени тонких бревен бьется пламя в «первобытном» очаге на земляном полу. На нарах, согревая друг друга своим телом, вповалку спят изможденные зэки. И только он, Знаменский, такой же «скелет», не спит.

Гнетущая вялость саднит усталые ноги, сковывает онемелое тело. Но он ничего этого не замечает. Перед ним раскрытая книга… Талмуд! Где черным по белому напечатано: «Еврейке не следует помогать нееврейке при родах», «…запрещается спасать их (акумов, гоев, вообще всех неевреев), когда они близки к смерти… Согласно с этим нельзя лечить… А также дозволено испытывать на акуме лекарство — полезное ли оно?». «…Вы все евреи, вы люди, а прочие народы нелюди…».

Знаменский оторвался от цитирования Талмуда. Невидяще уставился в сумрачные углы барака. «Как все-таки пророчески предвидел все это в своих «Бесах» Достоевский… Для его Петруши Верховенского народный идеал — жить по совести, по чести, по правде — чушь несусветная, ненужная сплошная наивность!».

— А ныне по указке Хрущева этот же Петрушка Верховенский тыкал бы гневным перстом в то жестокое время, обвиняя в нем Сталина и весь наш народ… — все по Талмуду. И Петруша Верховенский во всем был бы с ним согласен и тоже с мертвящим пылом в очах искал бы «врагов» среди лучших сынов Отечества. Бесы есть в любом народе, хотя по существу они — вненациональны. Но поступают точно так, как сказано в Талмуде.

— Ну и ну! — только и мог вымолвить я. — Это же!.. Это же!.. — почти подавился я возгласом и умолк.

— Поехали, что ли?!. — предложил Знаменский.

Глянул на небо, ища в нем некое мистическое утешение и удивляясь его равнодушию к земным ахам и всхлипам. Обратил внимание на одинокое облако на горизонте, похожее на павлинье перо. Таким же павлиньим пером оно отражалось и в озере.

Не знаю, как теперь объяснить тогдашнее мое состояние, но я, выгребая из-под сознания неосознанные ассоциации, вспомнил, как в войну мы после сильнейшей ночной бомбежки покидали Ростов. Уходили на рассвете. Брели через Дон по дощатой переправе по колено в воде.

В Батайске оглянулись. Уже занималось утро. Солнце еще не показалось, но небо уже было голубым — голубым. И вот на этом голубом фоне горел город. Пламя полыхало над каждым домом. Красные «полотнища» его — на голубом небе. Точь — в-точь как расцвеченное павлинье перо. И все это отражалось в тихой утренней реке.

Какая-то восторженная душа воскликнула:

— Смотрите, смотрите, до чего красиво!..

Мимо шли вереницей женщины, дети, старики, изнуренные, отупевшие, глядящие вдаль невидящими глазами.

— Дура! — возмущенно выкрикнул кто-то. — Красоту нашла!

— Грехи сладки, а люди падки, — проворчал какой-то старик…

— Цепляясь за обрывки жизни, сам становишься обрывком, — выхватывая меня из моих воспоминаний, проговорил Знаменский.

Это была одна из усмешек его сердца. Он думал о чем-то о своем, сузив глаза и переставая видеть все вокруг. Это был взгляд в себя.

Над нами пластался пронзительно — голубой купол неба. Над вершинами далеких снеговых гор стал нависать багрянец пылающего горизонта. А здесь, в ущелье и над озером, засуетились прохладные сумерки.

Знаменский вдруг засуетился:

— Поехали!

И уже при выезде на гравийку заговорил:

— Эмигранты — враги не коммунистического движения. Они объединены русофобией. Не в коммунизме, а именно в России они видят опасность. Забота этих «либералов» продиктована не симпатией к русскому народу, а болезненной ненавистью и страхом перед его освобождением. Журнал Синявского «Синтаксис» — один из голосов этого оголтелого сионистского антирусского хора. Именно — сионистского! — особо подчеркнул Знаменский и в подтверждение своих слов добавил: — Аллен Гинзбург в своем благородном возмущении сказал: «Я еврей потому, что от яростных сионистов во мне закипает кровь…».

Знаменский скусил верхушку купыря, какой, видимо, сорвал, идя к машине, выплюнул в окно и с не менее благородным возмущением, какое Гинзбург выдал о сионистах, усмехнувшись, сказал о русском народе:

— Неужто мы так бессильны?!

И горечь усмешки его была ясна мне.

Знаменский сидит прямо, в грустной задумчивости глядя вперед, продолжает:

— Русский народ должен чуять свое «мы». Он должен верить в свою правду, в свои силы.

Проселочная дорога переходит в шоссе. Нажимаю на газ. Машина стремительно несется в горы.

Хадыженск раскинулся внизу. Весь как на ладони.

Над городом уже распростерлись крылья заката. Красные вершины гор горят, как свечи. Сады молчат. Удивительная тишина разлита в воздухе, и кажется, что слышно сквозь нее далекий-далекий звон, спадающих с солнца лучей.

Не менее чем за квартал нас встречает овчарка Дозор. Я не раз бывал в гостях у Знаменского, и этот громадный пес уже по шуму мотора узнавал мою машину.

Дозор взвизгивает. Знает, что в машине сидит его хозяин. Бежит впереди машины, словно дорогу к дому показывает.

Знаменский посветлел лицом, пришел в себя, как больной после долгой болезни.

А вот и хранительница очага — жена Знаменского, Нина Сергеевна. Милая, аккуратная во всем — в одежде, в ведении домашнего быта, женщина, щедрая на ласковые улыбки. Но на этот раз она со слезой в голосе пожаловалась:

— Все глаза проглядела… Ведь вы еще утром выехали из Краснодара. Сосед обогнал вас у ГАИ. Он приехал, а вы… Я вся душой изболелась…

— Да вот… заговорились там у озера, — виноватится Анатолий Дмитриевич.

— Ну если только заговорились, — отходчиво улыбается Нина Сергеевна. Она знала пристрастие мужа к душевным разговорам и всегдашнюю готовность полюбоваться природой. — А то я уже думала: не авария ли? А может, с другой машиной столкнулись. Вон их сколько мотается по дорогам! А может, ваша «Волга» сломалась…

— С нашей «Волгой» все в порядке. Раз Иван Лукьянович за рулем…

— Да уж знаю… Но все равно тревожно на душе, — Нина Сергеевна смотрит на мужа влюбленно.

Вошли в дом. Я осматриваю жилье Знаменских с любопытством. Задерживаюсь взглядом на камине и винтовой лестнице, ведущей на второй этаж. Отмечаю про себя — и это все сделано руками Анатолия Дмитриевича! Кстати, он дом почти сам построил. По своему проекту. В двух уровнях и с широкой верандой на втором этаже…

После плотного ужина дочери Знаменского Оля и Лена садятся за пианино и в четыре руки бойко исполняют несколько фортепьянных пьес. В том числе Бизе, Грига… Вот уж не ожидал!

Я про себя радуюсь за Анатолия Дмитриевича: хорошая у него семья! И жена, и дочери красивые. К тому же девочки, чувствуется, хорошо воспитаны: вежливые, обходительные… А каково музицируют! Мы слушаем, затаив дыхание. Дозор лежит у камина. Подремывает, поглядывает на меня.

Вдруг легонько так заскулил. Анатолий Дмитриевич кивком показывает мне на него, улыбается: мол, видно, и ему нравится музыка.

Время — ближе к полночи. Анатолий Дмитриевич что-то сказал невнятно. Я не понял, но все остальные поняли. Здесь понимают друг друга, как я заметил, не то что с полуслова, — с полувзгляда. Девочки встают, закрывают крышку пианино. И тут

я догадываюсь: пора спать. Нина Сергеевна говорит:

— Пора дать гостю и отдохнуть.

— А я бы слушал еще и еще, — подаю я голос, хотя, откровенно говоря, подустал в дороге за баранкой.

Анатолий Дмитриевич с хозяйкой провожают меня вверх по винтовой лестнице. Следуя за ними, я разглядывал изящную резьбу на перилах лестницы. И еще раз подивился мастеровым рукам Знаменского. Нина Сергеевна заметила, как я разглядываю резьбу, подтверждает мои мысли:

— Толя сам все это сфантазировал! — с явной гордостью говорит.

— Только эта лестница ей и нравится из всего того, что я сделал. О книгах так не говорит.

— Книги твои хороши без всякого сомнения, — как бы не

соглашается с мужем Нина Сергеевна. — Но я их особенно не расхваливаю. Чтоб ты и дальше старался, оставаясь при этом скромным автором. А то некоторые твои коллеги…

— Вот такой у меня критик домашний, — оборачивается ко мне Анатолий Дмитриевич, явно довольный замечанием жены.

Последняя ступенька — и мы оказываемся в просторной комнате, уставленной книжными шкафами. Такому богатству позавидовала бы любая библиотека. Несколько полок занимают его книги. Взглянув на них, я только теперь понял, сколько успел уже сделать Анатолий Дмитриевич. Я вижу здесь и «Неиссякаемый пласт» и «Ухтинскую прорву»… Стоят книги тесненько, будто дружная семья. Думаю про себя: нелегко сложилась жизнь у Анатолия Дмитриевича, но сколько успел он сделать. И все спешит, все ему мало времени. Все жалуется: дни летят быстро, а так много надо еще написать! Успеть высказать все, «что накипело на сердце». У него действительно «накипело»!

— И когда ты все это успел? — мы с ним на «ты». С первых слов, можно сказать. При этом он не то в шутку, не то всерьез обосновал такое свое предложение: «К Богу обращаются на «ты» — ты, Господи. И только к чертям на «вы» — вы черти».

Проследив за моим взглядом и как бы подумав над моими словами, он заговорил раздумчиво:

— Не один исписанный лист выбросишь в корзину, пока добьешься своего. Не раз и не два перечитаешь написанное. Сначала кажется — все хорошо, а вчитаешься — нет! Не то. Нет жизни. Одна видимость. Правишь, переписываешь, снова правишь. Маята сплошная! Но зато, когда получается, — какое блаженство на душе.

Слушая его, я подошел к письменному столу — на нем стопка чистой бумаги и пучок шариковых ручек в карандашнице.

Заглянул в корзину, в ней несколько мятых листов. Расправил один, потом второй, третий… Читаю и удивляюсь: а почему он это выбросил? Написано добротно. Вопросительно гляжу на Анатолия Дмитриевича.

— Все это не то! — говорит он и отмахивается. — Ты брось бумажки. Подойди, посмотри сюда… — он и я подошли к двери,

ведущей на веранду. — Город, горы, огни…, в каждом доме люди. Что-то там происходит. Может, мирно беседуют в семье, может, телек смотрят, может, уже спать легли, и жена с мужем намечают дела назавтра… Может, мир и согласие у них, а может?..

И тут он сказал фразу, которую я не очень понял тогда, но которая до сих пор живет в моем сердце: «Знаешь, отчего жизнь моя так непросто складывается? Потому что сердце мое умнее меня».

Обычно в народе так говорят: «Он живет не умом, а сердцем». Это о хорошем человеке. Душевном. Который сердцем воспринимает жизнь. Не зря потом о нем напишут «Казачьи вести»: «Близко к сердцу? Нет, сквозь сердце». Да, он пропускает жизнь через сердце. Какое ж надо иметь сердце, чтобы не отвечать злом на все то зло, которое выпало на его долю?

От двери он пошел к полке, где стояли его книги, взял одну, раскрыл, постучал согнутым пальцем по открытой странице.

— В каждой такой книге — частица моей души, частица сердца. Я каждый раз перед выходом моей книги испытываю нечто такое, что и не объяснишь толком. Страх — не страх, но что-то сродни ему: ведь ты как бы стоишь распятый перед толпой. Читатель скользит по строчкам глазами, будто по живому режет. Я это чувствую. И если нахожу в книге, когда она уже вышла, слабые, а главное, — написанные не совсем искренне строки, у меня сжимается сердце. Болит, будто по нему ножом полосонули…

Нина Сергеевна перебила его мысли:

— Пора! Пора дать гостю отдохнуть.

Он глянул на часы и как бы спохватился:

— И впрямь. Я-то в машине подремывал, а ты работал за рулем…

Оставшись один, я прошелся по комнате раз — другой. Вышел на веранду. Огней в городе заметно поубавилось, и мне показалось, что ночь словно придвинулась. На небе звезды. Крупные. Не такие, какие у нас в Краснодаре. Воздух потому что чистый. Я пред

ставил себе, как сюда на веранду выходит передохнуть

Анатолий Дмитриевич. Что-то он думает. А может, просто любуется пейзажем. Стоит бездумно, ждет, когда на взбудораженной душе улягутся бури, вызванные воспоминаниями. Чтоб через время снова сесть за письменный стол с намерением перечитать написанное, может, поправить что-то, а может… скомкать и выбросить в корзину исписанный лист. И так много — много раз. Долгие, долгие годы…

Почему-то на ум пришли воспоминания, как однажды мы вернулись с моря. (Было и такое — мы иногда и отдыхали вместе, семьями.) После ужина занялись каждый своим делом. Знаменский почитывал книгу Романа Гуля. Моя жена Рая углубилась в стихи Есенина. Очень любит стихи Есенина! Потом возник общий разговор. Рая и спрашивает Знаменского:

— Так Есенина убили, или в самом деле он наложил на себя руки?

Знаменский отложил книжку. По всему было видно, что он готов поговорить на эту тему.

— Ты посуди, Рая, сама. Вот читаю Гуля. По его свидетельству, Есенин, будучи в Германии, кричал, в подпитии, конечно, у Дома аэроклуба: «Не вернусь в Москву!.. До тех пор, пока Россией правит Лейба Бронштейн…». То бишь — Лев Троцкий. И тот ему не простил. Достал его. Сын Троцкого Яков Блюмкин, убийца посла Мирбаха, провокатор, вертелся в литературных кругах, они буквально выследили Есенина. Они шли за ним по пятам…

— Это что, в Литинституте вам об этом говорили? — пораженный его словами, спросил я.

— Нет, конечно. В Литинституте я учился во времена Хрущева. Когда раскручивали так называемый «культ личности Сталина». Сталина во всем обвинили. Не Сталин виноват. Сами они и виноваты. Моими университетами был лагерь. Там мне помогли во всем разобраться. Там все четко знают.

Этот разговор происходил в те жуткие времена, когда разорение и разграбление СССР называлось сначала перестройкой, потом реформированием.

— Интересно, как теперь «преподают» в лагерных «университетах»? — этак ненавязчиво спросил я.

— А вот так и «преподают». Там называют вещи своими именами. Это точно. Мы здесь лицемерим и все надеемся, что лихо это недолговечное. Что как-нибудь рассосется. Нет! Не рассосется, господа русский народ! Потому что… — он вдруг поднял глаза на портрет Шолохова, висевший у меня над письменным столом. — Счастливчик! Не дожил до этих черных дней. При таком — сяком Сталине жил. Правду писал. А теперь

поди ты напиши правду. Кому она нужна? Ведь они все так хитромудро закрутили, что народ уже ничего не может понять. А нашего брата — интеллигенцию — с грязью смешали, нам нет веры…

Знаменский постучал по столу карандашом и, вдруг улыбнувшись, как если бы что-то вспомнил, иронически молвил:

— Новая история России!.. — помолчал горестно. — Видно, прав был Наполеон Бонапарт, когда сказал: «История — это продажная девка, которая спит всегда в постели победителя». А кто у нас нынче победитель? Что сегодня, о чем кричал бы Есенин? У власти снова троцкисты… Ведь на улицу страшно выйти. Все перевернули с ног на голову, — он кинул о стол книгу. — Ты посмотри, что они творят!.. — он хотел еще что-то сказать и задохнулся. Видно, его возмущению не находилось уже слов.

Ушел из жизни Анатолий Дмитриевич, словно бросил вызов равнодушным: «Думаете само собой рассосется? Нет, не рассосется…».

До сих пор мерещится тот поздний вечер: наговорившись, мы сидим и молчим…

Александр Мартыновский
А. Д. ЗНАМЕНСКИЙ В МОЕЙ ТВОРЧЕСКОЙ СУДЬБЕ

«Когда бывает мне нелегко, и мысли отягчаются печальными раздумьями, я достаю из папки статью Анатолия Дмитриевича о моем романе «Оборотни», перечитываю ее и словно бы слышу ободряющий голос его»

Взаимоуважение между нами проявлялось постоянно, и ровность эта сохранилась до его кончины. Мое уважение невольно возрастало и все более укреплялось по мере того, как я все глубже познавал его писательскую и человеческую сущность. Осознание незаурядной, яркой личности возникло с первого знакомства с его произведениями.

Я всегда старался читать его новые публикации, но и Анатолий Дмитриевич, как я открыл для себя, не был равнодушен к моим. Приведу такой пример.

В 1982 году Краснодарским краевым книжным издательством была выпущена в свет моя повесть «Трудное поле».

Напереживался я за нее предостаточно! Вскоре состоялась презентация ее в Славянском училище механизации сельского хозяйства с участием краевого телевидения. Что-то вроде этого было и на Белореченском химкомбинате по инициативе краевого «Общества книголюбов».

Мне было приятно осознавать определенный успех. Хотя повесть в издательстве трижды сокращалась. Первый раз — в ходе редактирования. И тут я как начинающий автор не возражал, так как видел, что и правка и сокращения были в подавляющей части обоснованными и пошли на пользу повести.

Шли дни. И вот в одно из посещений издательства редактор В. Недушкин с широкой улыбкой сообщил мне:

— Знаменский в «Доне» похвалил твое «Трудное поле»!

Выражение его лица при этом говорило примерно следующее: вот видишь, сам Знаменский похвалил твою повесть. А ты тут бушевал…

Это известие меня порадовало: мое творчество привлекло внимание большого писателя. Меня одолевало жгучее желание побыстрей прочесть эту статью.

Из статьи Анатолия Дмитриевича о начинающих прозаиках Кубани, где он положительно отозвался о Ротове, Пошагаеве, я все же приведу ту часть, которая касается меня: «…Хотел бы еще упомянуть здесь успешный дебют в прозе Александра Мартыновского, работника краевой Сельхозтехники. Человек на производстве дорос до руководящей должности, знает жизнь и отношения людей из первых рук, отнюдь не понаслышке. Она его беспокоит, иногда озадачивает, и он обращается к перу. Хорош был у него рассказ «Пароконные хода», затем написал он повесть о рисоводах, об освоении плавней, нравственном совершенствовании сельского труженика, пахаря и сеятеля».

Безусловно, такой отзыв маститого писателя подымал дух и творческий настрой. Тут было бы уместно позвонить Анатолию Дмитриевичу, поблагодарить за доброе слово. Что я и сделал.

В мае 1995 года по случаю 90–летия со дня рождения Шолохова в Вешенскую выехала группа кубанских писателей, в том числе Знаменский, Лихоносов, Придиус, Ротов… Был средь них и я.

И вот при остановке в дороге (пообедать в прохладе тенистой лесополосы) завязался оживленный разговор о продолжающихся сокрушительных прозападных новациях в России. Виктор Ротов, сидя на травке со Знаменским, вдруг спросил его, гладя с улыбкой на меня:

— А вы читали «Оборотней» Мартыновского?

— Нет, не читал, — как-то скороговоркой ответил он.

— А вы прочтите, — заметил Ротов. — Прочтите, там есть интересные мысли.

Знаменский, слегка сощурясь, глянул на меня:

— Он же мне не подарил.

Ротов круто обернулся ко мне:

— Саша, почему? Мы же об этом давно говорили.

— Помню, — смутился я. — Теперь обязательно подарю…

Буквально на следующий день после нашего возвращения из Вешенской я выполнил свое обещание — вручил роман Анатолию Дмитриевичу с дарственной надписью.

Как-то средь лета, в один из жарких июльских дней, выпало мне отвезти ему письма и газеты по просьбе тогдашнего ответсекретаря Сергея Никаноровича Хохлова. Анатолий Дмитриевич болел, и я, отдав корреспонденцию его жене Нине Сергеевне, не рискнул быть надоедливым, поспешил с извинениями удалиться. Но в это время в прихожую вышел сам хозяин, бледный, по — домашнему одетый.

— Ты заходи, заходи.

Я медлил, глядя на его болезненное лицо. Но он настаивал, показывая жестом руки в свой рабочий кабинет.

— Зайди, я тебе что-то покажу.

— Заходите, не стесняйтесь, — вторила ему Нина Сергеевна.

Я последовал за ним.

— Вот смотри, — указал он на раскрытую книгу, карандаш и листы бумаги на писательском столе. — Читаю твой роман. И не просто читаю…

…Вскоре после этого им была написана статья «Прилет инопланетян в “страну негодяев”» о моем романе «Оборотни». В статье давалась книге положительная оценка, и выражалось удивление тому, что «почему-то» книга обойдена вниманием «критиков и литературоведов». Сказано было и об авторе: «Ему удалось вывернуть наружу все тайные механизмы горбачевской псевдоперестройки и полного распада нравов в той среде, которая наиболее рьяно и полно воспользовалась возникшими возможностями к личному обогащению».

И далее: «Теперь нам ясно, зачем Яковлевы инспирировали малые и большие кризисы в стране, откуда брался «дефицит» мыла и спичек… Но мы еще не догадывались, что этот «дефицит» создавался не только ради спекуляций и накопления денег, но больше для того чтобы сказать в некий «час пик»: «Социалистическая система оказалась малоэффективной, надо возвращаться в мир денег по Адаму Смиту».

И заканчивалась статья следующими словами: «…Одна из основных, наиболее трудных задач для писателя — поспевать за

временем, ставить наиболее актуальные вопросы и задачи дня перед читателем. Мартыновскому удалось даже несколько «опередить» время. Он работал над книгой в 1988–1990 годах, а при чтении кажется, что написана она сегодня».

Добрые слова Мастера укрепили мой дух и наполнили душу новыми творческими порывами. Когда бывает мне нелегко, и мысли отягощаются печальными раздумьями, я достаю из папки эту статью, перечитываю ее и словно бы слышу сипловатый, но звучный голос поддержки Анатолия Дмитриевича.

Иван Мутовин
УБЕЖДЕННОСТЬ

«В «Красных днях» Знаменского нет покоя, нет обыденности состояния людей, здесь бушуют и плавятся человеческие страсти…»

«Убежденность!»

Так названа одна из многих книг Анатолия Знаменского, которая бережно хранится в моей домашней библиотеке с дарственной надписью: «Ивану Иосифовичу Мутовину, сотоварищу в литературе с дружеским чувством и пожеланиями. Анатолий Знаменский. 18 декабря 1986 г.».

Вскоре писатель преподнес мне бесценный подарок — две книги романа «Красные дни» — свой главный творческий труд, который сделал его всемирно известным писателем. Этот роман он считал «книгой — судьбой».

Об истории создания этого произведения в свое время он писал: «Ни один писатель не знает заранее, какая из его книг «написана» ему на роду. Осознание этого, впрочем, приходит уже позже. И тогда отдаешь себе отчет… Именно эта книга и есть моя, потому что все сказанное в ней не мог сказать никто другой. Это

было поручено сказать мне и никому другому».

Познакомились мы с Анатолием Знаменским в 1963 г. в кабинете тогдашнего издательства «Советская Кубань». Я, начинающий литератор, принес в издательство рукопись своей первой книжки. А Знаменский был там в связи с ожидаемой выхода в свет его повести «Сыновья Чистякова». Оба мы были молоды: ему 40, мне 43. Оба увлечены творчеством, и жизнь казалась бесконечной!

Но Знаменский был уже членом Союза писателей, автором книг «Неиссякаемый пласт», «Ухтинская прорва», «Иван — чай». Он учился на литературных курсах в Москве, и знакомство с ним я воспринял в творческом плане как хорошее предзнаменование, что впоследствии полностью оправдалось. Он стал одним из первых моих критиков, особенно когда редактировал альманах «Кубань». Тогда я часто публиковался на страницах этого издания. Знаменский находил слабые, а подчас и негодные места в моих рукописях, советовал, как исправить текст, и с удовольствием отмечал, что его критика оборачивается пользой для дела.

Когда на читательских конференциях Знаменского спрашивали о начале творческого пути, он отвечал: «Для меня лично начиналось это — с детства, с созерцания природы неискушенными и широко раскрытыми глазами, с ощущения ее красоты и величия, с преклонения перед ее поэтичностью, невыразимой словом, властью ее очарования. Моя душа, что называется, замирала. Мои впечатления тех дней были полны восхищения природой, искали выхода в попытках рисования, сочинения стихов…».

Возможно, Знаменский тогда не думал быть писателем, томила его большая внутренняя необходимость высказаться. Сказать о том, что не видели другие. А это уже повод для серьезных намерений. Таким образом, творчество писателя возникало не на пустом месте, а на основе жизненного опыта.

Скорей всего, тогда еще не хватало образования, и только огромное трудолюбие, самостоятельная учеба и внутренняя тяга к писательству позволили ему взять трудный рубеж — постигнуть начало художественного творчества.

Он учился у жизни неистово и жадно, захватывая огромные пласты литературы, истории. Эта неутомимая жажда познания сохранилась на всю жизнь.

Среди родников, постоянно питавших его крепнущий талант, одним из главных была классическая литература.

Заядлый книгочей с детства, Знаменский никогда не сдерживал свою эту страсть. Он считал, что хороший писатель

должен быть хорошим читателем. Говоря об этом, он часто цитировал

Уильяма Фолкнера: «Читайте, читайте, читайте! Читайте все — макулатуру, классику, хорошее и плохое! Смотрите, как это сделано. Когда плотник изучает свое ремесло, он учится наблюдая. Читайте!»

За первые тридцать лет жизни накопилось многое: и в памяти, и в душе, и в сердце. И постепенно просыпалось нечто, хотя и ощущавшееся ранее, но еще громко не звучавшее, как потом, приказом долга и памяти: «Ты если можешь писать, пиши…».

Ранние литературные произведения Знаменского, как правило, уже содержали в себе зерна таланта. Стремление отображать острые конфликтные ситуации и быт, воссоздавать характеры и строить диалоги — словом все, что называется литературной учебой, наличествовало в его произведениях.

Прошли годы напряженной работы, неутомимых поисков и учебы, которые и обеспечили в будущем высокую литературную профессиональную культуру.

Особо отметим, что красной нитью через книги Знаменского проходит мысль о русском народе, о лучших чертах его характера в борьбе за социальное освобождение — о мужестве и отваге, героизме и самопожертвовании, стойкости и выносливости.

Однажды я застал его в редакторском кабинете за перечитыванием страниц дневника Достоевского:

— Какая исступленная любовь к России, — сказал Анатолий Дмитриевич, закрывая книгу. — Она мучит, вечно тревожит — эта любовь, эта мысль о сущности народа, его пути, его будущем, его назначении. Она огромна эта тема, и замечательно сплетается с темой дружбы народов…

Характерным для Знаменского было глубокое понимание и знание прошлого России, умение заглянуть в будущее. Романтическая приподнятость интонации повествования: гипербола как излюбленный художественный прием; местами откровенная публицистичность, стремление активно вторгаться в жизнь; непосредственность диалога с читателем. Он хорошо понимал природу всенародного патриотизма и показывал его пафос. Поэтому и интерес к личности писателя был огромен. Ведь настоящая литература — всегда душа и сердце одного человека, вместившего в себя

весь мир. Благие душевные порывы свойственны многим, но осуществить их дано не каждому!

Писательской манере Знаменского свойственно стремление к точности, документальности. И это не случайно.

Действительно, документально — художественные книги завоевывают ныне приличествующее серьезному жанру место в читательской аудитории. Особенно если эти книги сочетают в себе добросовестные исследования событий с должными достоинствами языка и стиля. Ведь часто на материале нескольких замечательных человеческих судеб автор раскрывает время, эпоху, исторические закономерности. Широта обобщений достигает нового уровня. Здесь важен сам выбор писателя: показать время и развитие событий. Вот уж поистине — минерал лучше рассматривать на изломе, а человеческие судьбы на стыке времен!

В начале 70–х годов Анатолий Дмитриевич задумал роман «Красные дни» (первое название «Золотое оружие») и, собрав материал о командарме Ф. К. Миронове, его соратниках, Знаменский берется за перо, чтобы исполнить долг памяти: сохранить для потомков подвиги борцов за социальную справедливость.

И он начал писать прямо-таки «запоем», практически без перерывов, лишь изредка отрываясь от рукописи, выходил на улицу, но и здесь мысли не оставляли его. Он вспоминал свою нелегкую жизнь, жизнь своих товарищей — живых и мертвых. Из глубины памяти возникали давно забытые эпизоды, встречи, диалоги — так ясно, словно это было вчера. Постепенно шло уточнение замысла и намеченные линии, образы приобретали индивидуальные особенности и краски.

Писал страницу за страницей, отвлекаясь только для того, чтобы заглянуть в документ, взять письмо, книгу: помогали навыки исследователя и желание быть скрупулезно точным. Иногда он напевал мелодии песен тех времен, вспоминал забытые слова. Речевые характеристики персонажей отшлифовывал, мысленно представляя тот или иной эпизод. Нередко — импровизировал — и все яснее видел и слышал людей, населяющих его произведения.

В художественном отображении военного подвига командарма 2–й Конной Ф. К. Миронова писатель видел путь к философскому постижению жизни: своих героев он подвергал предельным испытаниям. Именно в таких критических ситуациях проходит проверку сила, воля, надежность. Многоохватное произведение Знаменского поражает искренней жизненностью.

В романе «Красные дни» нет покоя, нет обыденного состояния людей, здесь бушуют и плавятся человеческие страсти, страсти отдельных людей и масс, брошенных в водоворот социальных бурь.

Примечательно то, что Анатолий Дмитриевич творил на виду

у всех нас, его товарищей, охотно делился своими замыслами, читал отдельные главы. Как всякий большой художник он был творчески щедр. Благодаря хорошему дару импровизации, он нередко во время публичного чтения находил более точные слова и даже целые эпизоды.

Хорошо помню открытое партийной собрание писательской организации в начале 1986 года. Знаменский представил на нем свой творческий отчет. Выступавшие коллеги — писатели отметили четкую патриотическую позицию писателя, точность нравственных критериев в его произведениях.

Особое внимание участники собрания уделили именно работе Знаменского «Красные дни». Как подчеркивалось в выступлениях, писателю удалось масштабно рассказать об участии казачества в трех революциях и Гражданской войне, преимущественно на Дону и Кубани. Было отмечено использование документальных вставок в ткань художественной прозы. Документализацией Знаменский решал наиболее трудную задачу — сделать роман убедительно — достоверным!

«“Красные дни”, — было подытожено на собрании, — широкая панорама социальных потрясений. Показ жизни и борьбы, столкновение интересов классов и групп; поэтизация мужества и подвига трудового народа в борьбе за свободу, утверждение главенствующей роли коллектива перед отдельным «Я».

Вскоре после выхода романа состоялось и его обсуждение

в Доме политического просвещения. О «Красных днях» кубанцы уже многое знали из публикаций в газетах и журналах. Поэтому зал, где проходила презентация, был полон.

В фойе читателей ожидал сюрприз — стенды с фотографиями героев книги. Многие снимки писатель отыскал в архивах и получил в дар от ветеранов Гражданской войны. Состоялось обсуждение романа. Выступающие давали высокую оценку труда писателя. Анатолий Дмитриевич отвечал на многочисленные вопросы читателей, рассказал о том, как рождался роман, как работал…

Определенное место в творчестве Знаменского занял образ Владимира Ильича. Интересна оценка поведения Ленина в один из самых тяжелых моментов в истории Советского государства, накануне Брестского мира. Враги партии — троцкисты, бухаринцы хотели в 1918 г. ввергнуть Россию в самоубийственную войну «во имя мировой революции». Ленин обрушился на противников мира с жесточайшей критикой с трибуны седьмого партсъезда, который и принял точку зрения Ленина.

«Важнейший феномен ленинской личности, — писал Знаменский, — его человеческое неравнодушие к жизни, нетерпимость к произволу и гримасам быта, неукротимость в борьбе за справедливость… Известно, каким острым был вопрос о казачестве. Троцкий и его сподвижники отказали в доверии казакам. Ленин же поддержал работу казачьего отдела ВЦИК и 1–го июня 1918 года подписал декрет о приобщении трудовых казаков к советской работе на местах и мобилизации их в красноармейские части».

В своих произведениях писатель часто возвращается к зловещей роли Троцкого в судьбе казачества. Вопреки решениям Восьмого партсъезда Троцкий продолжал гнуть линию на «нейтрализацию», либо «усмирение» казачества. И все это декларировалось в тот момент, когда красная кавалерия на юге, состоящая более чем наполовину из казаков, успешно боролась с интервентами.

Особо следует отметить у Знаменского идейную убежденность. Войдя в литературу как автор талантливых книг, он не мог остаться в стороне от широкого круга явлений и процессов литературной жизни. Ему абсолютно претила групповщина, кружковая замкнутость. В каждой конкретной ситуации он всегда поступал согласно своим идейно — творческим принципам и убеждениям. Он поражал своей прямолинейной требовательностью, особенно когда речь шла о защите идейных позиций в борьбе против лицемерия, предательства, лавирования в человеческих отношениях. И как никогда остро — при выползании из исторических щелей псевдодемократов. Он проявлял характер испытанного бойца, уверенного в своей правоте и непреклонного в борьбе за нее.

Если попытаться определить особенности его творчества, то пожалуй, главными будут (повторяю) убежденность и политическая целеустремленность. При создании некоторых публицистических произведений острота полемики достигалась различными средствами, в том числе тонкой иронией, переходящей порою в сарказм, страстным отстаиванием своей позиции, широким использованием непосредственной беседы с читателем, приемом прямого обращения, разговорной речью. При этом проявлялся живой и сильный темперамент. Особенно во время выступлений перед читателями, которые играли большую роль в его жизни и творчестве.

Из месяца в месяц, из года в год в общении с читателями оттачивал он свое мастерство, выступал в рабочих клубах, в колхозах, воинских частях, участвовал в творческих дискуссиях. Но при всей своей импульсивности и непосредственности

Анатолий Дмитриевич довольно быстро остывал, самокритично оценивал ситуацию, сопоставляя различные точки зрения…

И еще один важнейший фактор — исключительное трудолюбие писателя, его способность быстро переключаться с одной работы на другую, умение собрать волю в кулак, не поддаваться настроениям и переживаниям в ущерб делу. Видимо, психологи не зря рассматривают склонность к напряженной умственной деятельности в общем ряду человеческих способностей как особенную, а многие считают ее главной. У Знаменского обстояло именно так: он был трудолюбив талантливо. Всей душой он любил литературу — как выражение человеческого духа, как проявление человеческого достоинства и благородства. Он часто повторял: «Литература — дело святое!».

Душевное богатство, отзывчивость Анатолия Дмитриевича раскрывались особенно щедро, когда кому-нибудь было трудно. Во время бесед он умел слушать и понимать собеседника. На его одухотворенном лице всегда отражалась правда переживания, искренний и трепетный луч совести. Он никуда не мог уйти от себя, от своей ранимой души, от принципа говорить только правду.

Во время наших с ним встреч Знаменский чаще всего говорил не о личном, не о бытовом, а о вопросах, затрагивающих что-то общественное, историческое. И казалось, это и было для него своим, личным. Такая особенность восприятия обуславливала и направление его литературного творчества.

Назначенный редактором «Кубани», Знаменский оказал влияние на улучшение содержания журнала. Сам активно писал в альманах. Редакционная жизнь отнимала у него немало времени. Тогда редакцию осаждало много начинающих литераторов, пробовавших свои силы в сочинительстве. Для них публиковались беседы под рубрикой «Литературная учеба».

Много сил отдавал тогда Анатолий Дмитриевич и организации литературного процесса, обучению писателей. Перечитав сохранившиеся у меня его публицистические выступления в прессе, могу с уверенностью отнести его к провидцам.

«Главный вопрос современности, — писал он 20 лет назад, — существовать ли роду человеческому на земле? Пожалуй, никогда еще человечеству так не угрожало глобальное уничтожение. Мировой империализм всегда грозил тому или иному народу агрессией и постоянно вынашивал авантюристические планы мирового господства! У империализма, и в первую очередь американского, много преступлений против народов. Совершались они в прошлом, совершаются и сейчас…»

Кажется, что эти строки написаны писателем только вчера, потому как мир за прошедшие 20 лет стал еще агрессивнее, а американский глобализм (так ныне именуют империалистов) превратился в мирового жандарма.

Анатолий Знаменский — самобытная, яркая фигура на литературной орбите 50–90–х годов. Его место и роль определились содержанием, духом, пафосом творчества и тем, что не чурался организационной работы, выполняя обязанности члена правления Союза писателей России.

Анатолий Знаменский прожил большую творческую жизнь. В нее вместилось столько, что иным хватило бы на несколько жизней.

Литература должна служить народу — эти слова он воспринимал вполне конкретно, осязаемо! Неутомимый новатор, он был реалистом и романтиком. В своем самом значительном произведении «Красные дни» он достиг высот, отразивших дух эпохи. Роман принадлежит к непреходящим духовным ценностям, таким, как «Тихий Дон» М. Шолохова.

Знаменский удостоен Государственной премии России, ему присуждена премия им. Шолохова.

Талант Знаменского обладал редкой выразительностью формы, своим творчеством он обогатил жанр социальной трагедии. И вспоминаем мы его теперь как цельную личность художника-гражданина, книги которого есть достойный комментарий к его жизни.

Вадим Неподоба
КРОВЬ ОТ КРОВИ, ПЛОТЬ ОТ ПЛОТИ НАРОДА

«Анатолий Дмитриевич стремился быть объективным во всем и всю жизнь. Этим он интересен как человек и как писатель»

Русский народ богат многообразием характеров. Не в обиду другим народам, потому что это мое личное восприятие: но грузина, армянина или азербайджанца по внешности может отличить лишь человек, живущий или живший среди них. Не случайно же в обиходе нынче выражение «лица кавказской национальности». Кстати, и меня, грека по матери, так называли в Москве, когда я учился на Высших литературных курсах.

Но русское лицо, русский характер не спутаешь ни с каким другим. Анатолий Дмитриевич Знаменский (царство ему небесное) был не просто русским человеком, но выдающейся личностью. Он оставался самим собою даже тогда, когда сильному миру сего с партийным билетом приходилось говорить не «я тебе дам по морде», а «извините, я могу испортить ваш

портрет». Этому его научила «зона», куда он попал семнадцатилетним юношей. А там закон: «хочешь жить — умей вертеться». Но слишком вертлявых презирают и наказывают. Главное — чувство меры. И ни в коем случае не унижать собственного достоинства! Все это, присущее Анатолию Дмитриевичу, несмотря на резкость его суждений и поведения, держало его авторитет среди писателей на высоте. Это же является стержнем его произведений и главной его книги — «Красные дни».

Трудно быть объективным в жизни, а тем более в художественном произведении, но Анатолий Дмитриевич стремился быть объективным во всем и всю жизнь. Этим он интересен как человек и как писатель. Командарм Миронов («Красные дни») заинтересовал Знаменского как человек и историческая личность, незаслуженно забытая. В судьбе Миронова, как в капле воды, отражена трагическая суть Гражданской войны, коноводами которой были Свердловы и Троцкие. И Анатолий Знаменский первым набрался смелости указать на этот факт.

Я работал в книжном издательстве, редактировал одну из его книг и удивлялся покладистости этого резкого, можно сказать, взрывного характера человека. Там же, где было его, святое, он говорил: «Ты это не трожь, это мое», а чаще всего принимал замечания, сказав: «Ну что ж, подумаю». Его почему-то не любили редактрисы — интеллигенточки, при его появлении делали вид, что они слишком заняты делом. А когда приходил другой ученый — писатель, хохмач и артист, они оставляли свои дела и с подобострастием слушали его анекдоты. Этому почему-то разрешалось болтать всякое.

Знаменский в себе и, естественно, в своих произведениях — заряд истины. Он, как крупный снаряд, еще не взорвался, но уже, пролетая над позициями врагов, вгоняет в ужас до такой степени, что захватчиков в окопах трясет от страха.

Помню его лицо — тонкое, совсем не казачье. Серо — зеленые глаза… Насмешливый взгляд в любую секунду мог стать гневным. К концу жизни он торопился издать все, что им написано, а это вызывало у меня лично недоумение. Надо же и другим издаваться, молодым в особенности! Но теперь понимаю: он иначе не мог себя вести, ведь чувствовал, что жить осталось немного, а замыслов — уйма.

Почему я так пишу? Чтобы сказать: он был писателем всегда — в неволе, в суровом быту, на свободе, в миру. И жена встретилась ему верная, понимающая. Какой и должна быть жена писателя. Он был писателем кровь от крови, плоть от плоти

народа.

Кронид Обойщиков
ЗАВЕЩАННЫЕ СЛОВА

«Знаменский — лауреат Государственной премии и иескольких литературных, — создал много превосходных книг, наполненных живой изобразительной тканью и написанных сочным языком»

С Анатолием Дмитриевичем я познакомился в 1961 году. По летам мы почти ровесники, по роду — племени — донские казаки. Но судьбы наши сложились по — разному, хотя одинаково тяжело — он прошел через муки ГУЛАГа, я — через войну.

Годом раньше, завершив двадцатилетнюю армейскую службу, я поселился в городе своей курсантской юности, а Знаменский в том же году закончил Высшие литературные курсы в Москве и приехал жить на Кубань. До учебы в Москве он восемнадцать лет провел в глухих местах Крайнего Севера. Навеки остуженный полярными ветрами, он решил согреться под южным небом. Местом своего жительства Анатолий Дмитриевич избрал рабочий город Хадыженск, а в Краснодар приехал встать на писательский учет.

Руководителем краевой организации писателей в ту пору был Виталий Борисович Бакалдин. На правах гостеприимного хозяина он пригласил Знаменского отобедать в ресторане на углу улиц Красной и Гоголя. К ним присоединились и мы с тогдашним редактором альманаха «Кубань» Александром Ивановичем Панферовым.

Признаться, в тот вечер Анатолий Дмитриевич не произвел на меня особого впечатления. Говорил мало, беседу поддерживал отдельными фразами. В те годы он, конечно, не мог каждому открыться, вылить боль незаслуженно трудной жизни, бросившей тень на его имя. Видимо, он боялся, что его могут не понять и снова уколоть неприятным случайным словом.

Он уже был автором двух объемистых романов, по которым его и приняли в 1957 году в Союз писателей.

На всех писателей я смотрел в те годы с благоговением, но у Знаменского при той встрече я не увидел душевной открытости, к тому же он даже не притронулся к рюмке, и уже одно это в моих глазах снижало его достоинства. Я тогда еще не знал, что воздержание Анатолия Дмитриевича связано с болезнями, приобретенными в лагерной жизни.

Постепенно узнавая Знаменского, я обнаружил у него талант изумительного устного рассказчика. Его можно было слушать часами, восхищаться его страстью, неожиданными сравнениями, улавливать рвущуюся вперед мысль, сопереживать и радоваться его обширным знаниям.

С Анатолием Дмитриевичем мы сблизились не сразу — видимо, все-таки сказывалась полярная разность биографий. Долгое время он почему-то меня и Виктора Иваненко заглазно называл «черными майорами» и считал нечистокровно русскими людьми.

— Может, мое имя вас смущает? — как-то спросил я у него.

— Нет. У меня был хороший знакомый, тоже Кронид. Истинно русский, да еще образованный и добрейший человек. Мы с ним вместе отбывали срок. А вы с Иваненко явные пособники этих…

После такого категорического заявления уважаемого писателя мы с Иваненко долго недоумевали: кому и в чем оказываем пособничество? Со всеми писателями мы старались поддерживать равные товарищеские отношения.

Ко дню моего пятидесятилетия Анатолий Дмитриевич подарил свою новую книгу «Завещанная река» с трогательной надписью: «Дорогому Крониду — с уважением и самыми добрыми пожеланиями в многотрудном поэтическом полете. Анатолий Знаменский 7.04.70».

В дарственной романа «Красные дни» оставил такой автограф: «Крониду Обойщикову, сверхсрочнику нашей литературной дивизии. Сердечно! 4.07.87 г.».

— Наших кубанских писателей только на взвод хватит, — заметил я.

— Но мы-то в дивизии служим, полки которой по всей России великой, — ответил Анатолий Дмитриевич, который всегда мыслил масштабно.

В 1985 году меня избрали секретарем партийного бюро писательской организации. Как-то я провел партсовещание собранно и быстро. После собрания ко мне подошел Знаменский:

— Молодец, так и надо: четко и конкретно, чтобы времени было больше делом заниматься.

С началом перестройки экономики страны и нашего мышления, особенно после трагических событий 1991 года, стали отчетливее проявляться позиции каждого. Отношение ко всему, что происходит в стране, стало как бы лакмусовой бумажкой гражданского самосознания — и я понял, что Анатолий Знаменский, войсковой старшина Всекубанского казачьего войска — Патриот с большой буквы. В день его рождения 1 мая 1992 г. я написал такие строки:

Надо жить теперь сознанием,
Что мы сблизились в году,
Когда я легко
Со Знаменским,
Как со знаменем иду.
Завязалась паша ниточка,
Поздравляю земляка.
Толя, вот тебе открыточка,
Вот тебе моя рука.

Особенно я сблизился с Анатолием Дмитриевичем во время пребывания в Доме творчества в Переделкино осенью 1995 года. Он выехал на несколько дней раньше, следом отправился я.

По приезде в Переделкино разыскал Знаменского. У него нога в гипсе, рядом с кроватью костыли. Оказалось, что при выходе из электрички он неудачно оступился и сломал ногу.

С этого дня мы общались ежедневно, я приходил к нему с удовольствием, исполнял его просьбы, радовался нашим долгим беседам.

Именно тогда я в деталях узнал о РАППе, о кознях вокруг

«Тихого Дона», о преступных директивах председателя Реввоенсовета Республики Льва Троцкого. В первую очередь мне, донскому казаку по материнской линии, интересно было узнать цифры и документы, подтверждающие, что основная масса казачества в годы гражданской войны выступала за Советскую власть. Там же от человека, семнадцать лет отсидевшего в лагерях и прожившего в спецпоселениях, услышать слова в защиту Сталина — государственника. Кстати, я неоднократно от бывших зэков и ссыльных слышал аргументы в оправдание суровых законов того времени.

Говорили мы о нынешних событиях в мире. Американские «томагавки» в те дни бомбили селения сербов. Я прочитал Анатолию Дмитриевичу только что написанные стихи:

…О вы, насильники из НАТО,
Придет, придет и к вам расплата,
Еще не кончен разговор.
Но если промолчит Россия,
И сербы упадут в бессилье,
На молчаливых их могилах
Застынет русский наш позор.

— Хорошие стихи. Перепиши начисто. Завтра ко мне придут из «Советской России», попрошу напечатать.

Знаменский — лауреат Государственной премии и нескольких литературных, создал много превосходных книг, наполненных живой изобразительной тканью и написанных сочным языком. Об этом кто-то скажет обязательно. А я вспомнил только краткие встречи и слова, оставшиеся в памяти.

Толя Знаменский с сестрой идут в школу; семья Знаменских: Анатолий Дмитриевич и жена Нина Сергеевна с дочками Олей и Леной. Хадыженск, 1960 г.

В родительской семье. Первый ряд (слева направо): мать Анна Капитоновна, отец Дмитрий Максимович, сестра Клавдия Дмитриевна. Второй ряд (слева направо): Анатолий Дмитриевич и зять Алексей Александрович Мыльцев

На рабочем столе всегда цветы

Дом Знаменских в станице Слащевской. А. Д. Знаменский и Н. С. Знаменская беседуют с соседкой (слева направо). Май. 1990 г.

Знаменский строит дом, г. Хадыженск

А. Знаменский с женой

В Кремлевском дворце в перерыве съезда писателей СССР. Слева направо: А. Знаменский, И. Вараввa, В. Лихоносов, А. Стрыгин, А. Власенко, Б. Тумасов

С Василием Беловым. Апрель, 1993 г.

С поэтом В. Павлиновым, Переделкино; с поэтом И. Беляковым и прозаико И. Зубенко

А. Знаменский и писатель Г. Василенко

В. Максимов, В. Лихоносов, А. Знаменский за чаем

Казакам есть о чем поговорить: А. Знаменский, Н. Авдеев, П. Придиус *(слева направо)*

В гостях у адыгов

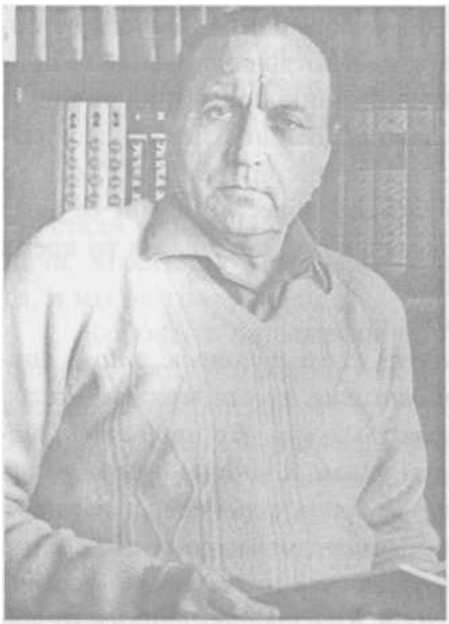
Хорошо работается!; А. Д. Знаменский среди старшеклассников станицы Выселки

В рабочем кабинете. Март. 1984 г.; работе время, потехе — час. В кругу — атаман ВКВ В. П. Громов

Встреча с земляками. Казаки зачитывают А. Знаменскому сообщение об Указе Президента о присвоении ему звания лауреата премии им. М. А. Шолохова. Май. 1995 г., ст — ца Кумылженская

Заглянуть в классику никогда не поздно…; после памятной

встречи, посвященной А. Д. Знаменскому. В первом ряду *(слева направо)*: В. С. Ротов — прозаик, Н. С. Знаменская, О. А. Знаменская. Во втором ряду — работники музея



Геннадий Пошагаев
СЛЕДУЯ ПОЛЕЗНЫМ СОВЕТАМ

«Должен сознаться, что все эти переделкинские дни были насыщены впечатлениями от общения с Анатолием Дмитриевичем, а также полезными и небезынтересными разговорами, и вдруг как-то пусто стало без нашего лидера»

Помню, как на краевом семинаре молодых литераторов в 1969 году писатели похвалили мои первые рассказы. Но потом со мной что-то случилось, а вернее, попал я в полосу невезенья: одолевала болезнь, вдруг как бы утратил уверенность в себе. Ничего не получалось, о чем бы ни пытался писать. И хотя вдохновение не приходило, тем не менее приступил к написанию повести на рабочую тему о молодежи авиационного завода. Вещица получилась сырая, объемом страниц 300. И не хватало мастерства довести ее до ума, и я, придя в отчаяние, забросил эту повесть, не мог ее даже видеть. И как-то пожаловался Знаменскому, который в то время жил в Хадыженске, мол, так и так…

Знаменский прислал письмо:

«…То, что не можешь видеть свою рукопись, это — нормальное развитие событий. Придет еще такая минута, когда будешь снова ласкать ее, как молодую жену. Но надо этот момент ускорять раздумьями по тем узлам, которые в ней тянут главную линию. Не ждать пассивно. Искать новые повороты и оттенки того движения, которое там запрограммировано с самого начала. Должно возникнуть также побуждение отсечь лишнее. Жалеть текст нельзя… Если буду в Краснодаре, то возьму повесть посмотреть. Интересно все же. Да и надо вас, стригунков, дотягивать — в меру наших сил, конечно…».

У нас с Анатолием Дмитриевичем сложились дружеские отношения, завязалась переписка. Он и его супруга Нина Сергеевна хорошо знали мою жену, которая работала бухгалтером в писательской организации, и потому Знаменские в присылаемых письмах приглашали меня и жену приехать к ним в гости. А потом вдруг пришла в голову мысль: что если сходить к Знаменскому на «своих двоих», как это я проделал однажды, сходив пешком в Новороссийск?..

Погодка на удивление выдалась — любимая пора — осень! И я отважился, пошел в Хадыженск: хорошая разминка, и почему бы не посмотреть, как живут настоящие писатели!

После Горячего Ключа шел по горам. Иногда ночами при луне и ярких звездах. Мимо меня с ревом проносились груженные бревнами лесовозы. Порою так заносило прицепы, что я едва успевал отскочить в сторону. Помню, прибрел я в какой-то поселочек (название которого не вспомню), в крайнем дворе с машины выгружали арбузы, и я напросился в помощники. Хозяева, благодарные мне, пустили к себе на ночевку. Но заснуть не удавалось, молодые хозяева что-то не поладили между собой, и мне пришлось их мирить. Горячо убеждал, что живем один раз на свете и надо быть терпимее, добрее друг к другу. И они под влиянием моего вмешательства, смотрю, притихли. Потом включили свет в кухоньке, стали жарить картошку, позвали меня к столу, — и это среди ночи. Угостили самогоном и признались мне, что я им понравился, и мы разговорились…

Короче, в Хадыженск я пришел где-то во второй половине дня. Постоял, отдышался у калитки, где жили Знаменские, и наконец дождался, когда гавкнет огромная овчарка. Поверх высокого забора я разглядел ухоженный просторный двор, у входа в дом — беседку, оплетенную виноградом, и ровную дорожку, что вела от крыльца к калитке. По этой дорожке вышел ко мне в пижаме Анатолий Дмитриевич, удивился, узнав меня. Следом за ним вышла Нина Сергеевна. Она улыбалась. Недоумевая,

спросили, почему я без жены приехал?

— А я не приехал! — огорошил хозяев. — Пришел пешком из Краснодара…

— Как это?.. — не понял Анатолий Дмитриевич, оторопев и поморгав глазами.

— А вот так, очень просто, — засмущался я и рассказал им про то, как люблю ходить пешком…

— Постой, Геннадий, что за чушь, — перебив, нахмурился Анатолий Дмитриевич, думая, что я пошутил. — Так ты… Или денег не было на проезд?

— Да не — ет, — засмеялся я, — деньги имелись, дело не в них, захотелось попутешествовать, воздухом подышать, природой полюбоваться…

Знаменский пожал плечами. Я продолжал объяснять:

— Такое, ну — у… желание, порыв овладел мною… Вот так же я ходил в Новороссийск и под впечатлением похода написал рассказ «Светофоры зеленые». Вы еще похвалили, Анатолий Дмитриевич…

— Помню. Да, помню… Рассказ действительно хороший…

— Вот и к вам пришел. Вдруг опять напишу что-нибудь.

Мои рассуждения развеселили Анатолия Дмитриевича:

— Ага, романтик, значит… так теперь что же получается: чтобы, например, тебе написать большой роман или повесть, потребуется пехом идти до самого Урала! Так, что ли?! — сощурив глаза и вздохнув, Анатолий Дмитриевич заметно рассердился. — Не то ты говоришь: надо быть в гуще жизни, жить интересами народа… Это ты, брат, шалишь насчет того, что тебе хочется бродить! Погоди немного, с годик. Около тебя уже не одна жизнь, а две, и это, пожалуй, самое главное богатство, которое надо сейчас не только понаблюдать, но и «творчески проникнуться». Пасенюковские «горы, небо и люди» еще не уйдут от вас. Главное-то в другом — в середке… Ты лучше выбери время, возьми отпуск и поезжай в село или станицу, поживи среди людей и там столько всего узнаешь об их судьбах, что тебе хватит материала на целую книгу, и отпадет надобность переться до Урала…

Я понимал, как полезны советы Анатолия Дмитриевича, хотел что-то сказать, но вмешалась Нина Сергеевна, позвала нас в дом. Познакомили меня с их дочками и сели обедать, выпили водки, а после мы с Анатолием Дмитриевичем перебрались в его кабинет и просидели до глубокой ночи. Анатолий Дмитриевич говорил о работе над незаконченным романом о Гражданской войне на Дону и Кубани, о Филиппе Кузьмиче Миронове. Он был искренен настолько, будто бы не с начинающим литератором, а с

близким человеком беседовал, во всем доверяясь. И что не забылось: читал отрывки из нового романа «Золотое оружие», который далее перерастет в роман — хронику «Красные дни».

Уже при чтении этой незаконченной рукописи, оценивая ее на слух, я почувствовал, какой это большой писатель. Меня переполняло чувство гордости, что автор доверяет начинающему прозаику, и как было приятно, когда он, прерываясь, сомневаясь в чем-то, желал услышать мое мнение о той или иной сцене, и насколько все психологически достоверно им изображено. Но мне ли судить, что хорошо, а что плохо? Я понял, как много предстоит работать над собой, чтобы стать таким писателем. И вот слушаю.

Написано по — шолоховски, живыми и полнокровными вставали перед глазами невымышленные герои со страниц рукописи, которая еще нигде не печаталась. Меня буквально завораживали изображенные картины нового произведения…

Прощаясь со мной, Анатолий Дмитриевич посоветовал ездить в творческие командировки на встречи с читателями с кем-нибудь из опытных писателей. Я старался запомнить все его подсказки и был полон решимости в ближайшее время поехать куда-нибудь. Но проходили дни и даже месяцы, а приглашения я так и не дождался от тех писателей, пообещавших взять меня с собой на встречи с читателями. Напоминать было неудобно: может, забыли, а может, отпугивал я их своей замкнутостью и неконтактностью…

Самолюбие задело, и я, плюнув на все, решил сам съездить в сельскую местность. И поехал в станицу Геймановскую, знакомую еще с детства, находившуюся неподалеку от того села, где я воспитывался в детдоме после войны.

По пути, подъезжая к станице в дребезжащем небольшом автобусе, я узнал от громко разговаривавших попутчиков, что председатель колхоза, присланный откуда-то со стороны чужак,

не уживается с людьми, разогнал специалистов, которых и без того не хватало в Геймановке. И тотчас же у меня родилась мысль, как надо дальше действовать… Сразу же по приезде в станицу я отправился в правление.

Председатель принял меня настороженно; отчужденно и исподлобья оглядывал меня.

— А кто вас направил ко мне? Вы были в райкоме?

— Нет, — сказал я, не понимая, зачем мне там быть.

Председатель обеспокоился, когда узнал, зачем я приехал,

и, схватив телефонную трубку, стал звонить в райком партии:

— Тут у меня сидит писатель! Прибыл писать какой-то очерк… Что?! Ага… Хорошо — хорошо! Я направлю его к вам!

Положив трубку, он сказал:

— Вам надо показаться в райкоме и согласоваться с первым секретарем. Доложите ему о цели своей поездки, и почему выбрали именно нашу, а не другую станицу…

Ушел я раздосадованный. С нехорошим чувством в душе прибрел к остановке и стал ждать автобуса, чтобы уехать в Краснодар. А в это время напротив клуба и неподалеку от ворот центральных мастерских я заметил толпившихся колхозниц. Они громко разговаривали, ежились от ветра в своих куртках и фуфайках. И что-то меня подтолкнуло, я направился к ним, поздоровался с гомонящей толпой. Женщины дружно ответили и с любопытством присмотрелись ко мне.

— Куда это вы едете? — спросил их.

— Куда ж еще! Свеклу копать…

— И я с вами, можно?

— А что, поехали! — женщины переглянулись и засмеялись:

— А кто вас послал?

— Никто, — и тут я смекнул, что сказать. — Да просто захотелось поработать, размяться. Ну и если понравится у вас, останусь в станице.

— Давайте! Нам женихи нужны. Особенно — непьющие!

Подъехала бортовая машина, и в нее полезли бабоньки. Не стал я раздумывать, забрался в кузов и поехал вместе с ними на поле.

С непривычки запыхался, включившись в погрузку свеклы.

К концу дня я вымотался. Женщины у бочки с водой помыли руки, сели обедать. Каждая от души угощала меня. Я смотрел на работниц и любовался ими, хотелось узнать подробности об их жизни. И конечно, много узнал, они ничего не скрывали, откровенничали о себе, о новом председателе…

Очерк получился. Но сколько шуму наделала публикация не только в Геймановке, а и во всем районе. И когда я проездом заскочил в станицу, то встречен был по — разному: одни отнеслись с уважением, раскланивались со мной, другие, сторонники раскритикованного председателя, враждебно посматривали в мою сторону. Не могу забыть, как во многих дворах с любопытством рассматривали меня, написавшего правду, и некоторые старушки и женщины тихонько зазывали во двор, предлагали мне всякое: кто баночку меду, кто кусок сала. Благодарили за заступничество, а мне было неловко, я, конечно, отказывался от гостинцев.

Анатолию Дмитриевичу Знаменскому я поведал о том, что получилось.

Он посмеялся, но тут же, рассердившись на мою неуклюжесть, отчитал хорошенько и долго втолковывал об

объективности, о выборе позиции, как быть писателю в том или ином случае. Многое пригодилось потом из того, что он советовал.

Четверть века спустя после нашего знакомства мы с Анатолием Дмитриевичем отдыхали в подмосковном Доме творчества Переделкино. Поселили нас на втором этаже в главном административном корпусе. Устроились неплохо, лучше и некуда. Комнаты рядом, вместе столовались. После городской суеты мы как бы оказалась в раю, — благодатная тишина, воздух чистый, кругом лес, березы и сосны, лишь изредка где-то в отдалении с шумом проносились электрички да со стороны церквушки доносился светлый колокольный звон. Что и говорить, места прекрасные, и условия отдыхающим предоставлены замечательные: в комнате, где я жил, имелась настольная лампа и письменный массивный стол, отдельно душ, никто не мешает, закрывайся на ключ и сиди, твори «шедевры», стучи на машинке, было бы вдохновение: но… сбивало с толку трехразовое обильное питание. В завтрак, например, наевшись, вяло слоняешься. И отказаться от еды недостает силы воли. Ну какое может быть писательское вдохновение, тут бы отдышаться! Но это поначалу.

Непонятно было мне, зачем столько собак тут развели? Чуть стемнело, и они как угорелые носятся вокруг корпуса; по лесу шныряют, гавкают; да такие огромные, что опасно и прогуливаться. Оказывается, псы безвредные, их кормят местные литераторши; в очках, седовласые, этакие немощные, угасающие пенсионерки. Позабавило меня то, что эти собачьи «опекунши» разговаривали с ними будто с непослушными детьми. То поругивали, то наоборот, умиленно поощряли и проводили с песиками поучительные беседы.

Но возмутило меня, что эти близорукие старушки величали четвероногих дворняг мужскими именами: Иван, Кузьма, Федор, Степан…

Увидевшись со Знаменским, я выразил свое возмущение, но он махнул рукой и, сердясь, дал понять, что есть дела поважнее; мол, не обращай внимания на выживших из ума бывших литературных сотрудниц, и повел меня знакомить со своими друзьями, с которыми он вел переписку. Оказывается, из года в год в одном и том же месяце они съезжаются в Переделкино, чтобы встретиться и пообщаться, душу отвести. Среди них немало поэтов и прозаиков, прибывших из российской глубинки, руководители областных писательских организаций, редакторов, публицистов, критиков.

К этому времени Анатолий Дмитриевич стал известным

после выхода в свет романа — хроники «Красные дни», принесшего ему славу. Возрастающий его авторитет меня несколько сковывал, я первые дни робел перед Знаменским, встречаясь с ним здесь. Мне он показался суровым и недоступным для общения, но мое представление о нем было, конечно, ошибочным. Нет, он нисколько не изменился, разговаривал и шутил; немного выглядел уставшим и раздраженным. Но то и замечательно было, что беседовал он со мной как с равным, не возвышался; одинаково, что с друзьями, что со мной. Подкупала искренность. В этом плане Анатолий Дмитриевич был прямой и умный собеседник, в своих суждениях не допускал и тени пошлости, в то же время мог пошутить: общение с ним не обходилось без остроумных баек.

Что касается друзей Анатолия Дмитриевича — бросались в глаза теплые отношения, понимание друг друга и ясная позиция — единая боль за поруганную Россию. Я невольно вспоминал нашу писательскую организацию: да, мы все разные, казалось бы, добрые в своих деяниях и помыслах, стоим на патриотических позициях — за Россию, за нашего Кондратенко. Однако что-то происходит со всеми нами. Несовместимость и разобщенность стали напоминать, как выразился Юрий Бондарев, баррикады противоборствующих сторон в одном лагере. Что привело к образованию группировок и усугублению отношений внутри творческой организации.

«Мы, действительно, теряем уже друг в друге человека, а значит, — культуру, — пишет Юрий Бондарев. — Не обличать, а понимать надо, иначе мы уничтожим один другого. Обличая самих себя с яростью необыкновенной, мы не видим настоящего противника, мы слепнем и глохнем…»

Об этом и о многом другом вели разговор друзья Анатолия Дмитриевича. Обычно после завтрака они собирались у выхода из корпуса и шли прогуливаться по парку или уединялись в беседке. Постепенно горячились, дебатировали по поводу безнравственных публикаций, разумеется, говорили о жизни, обо всем, что наболело на душе. И конечно, чаще других звучал голос Анатолия Дмитриевича, который раскалял своими рассуждениями о губительной перестройке. В чем-то с ним не соглашались; но с ним, что важно, можно было спорить. Плодотворно, конструктивно спорить, он умел внушать высокие благородные принципы, его душа источала нравственный свет.

Интересно было слушать не только Анатолия Дмитриевича, а и близких ему единомышленников. Я иногда уставал от умных разговоров, и было желание отстраниться и пойти прогуляться по окрестностям, по лесу побродить или в поле. Походить по

разнотравью, помечтать. У меня в душе музыка возникает, когда нагуляюсь, обретаю легкость и уже не замечаю, куда иду и где нахожусь. И после прогулок на просторе возвращался к себе одухотворенным, с душою нараспашку. Находил компанию, друзей Знаменского, и делился с ними своими ощущениями. От меня не отгораживались, но все равно чувствовал я себя поначалу неловко, порою выглядел белой вороной, и построжавший Анатолий Дмитриевич, узрев, что я склонен к уединению, стал присматривать за мною, старался удержать, не давал чураться компаний, отговаривал от чрезмерного романтизма и мечтательности. Между прочим, в нашем кругу был некий Курдаков Евгений Васильевич, новгородский поэт, который в чем-то был близок мне по духу. Удивительное у него отношение к природе, и пишет талантливо, часто печатается в «Нашем современнике». Его романсовый стиль завораживал меня и друзей Анатолия Дмитриевича, когда он читал новые стихи. Он говорил Знаменскому: «:..Надоела эта громогласная публицистика, корявая лозунговая «гражданственность» изданий. Хочется доброго, тихого, кроткого, простого чувства, сердечного слова; музыки хочется и, не побоюсь этого слова, хочется сентиментальности, что считается вообще почему-то предосудительным. И вот некоторые черты тоски по этой забываемой музыке тихих и простых чувств, может быть, и придают моим последним стихам романсовый колорит, которого я нисколько не стесняюсь. Грусть, сентиментальность — очень русские качества, это разновидность жалости, всесочувствия, сострадания. Так что возврат к романсу или хотя бы к его колориту — это не просто милое ретро…».

Анатолий Дмитриевич помолчал и кивком головы, не возражая, одобрил высказывания Евгения Курдакова, который не только поэт, а еще и флорист. Он собиратель корней, пней, любит бродить по пустырям, по стройкам, траншеям и ямам. С большой хозяйственной сумкой и старой ножовкой ищет материал. Делает трости, трубки, бусы, шкатулки, пепельницы, вазы, лотки, кулоны, сувениры, работая теслом.

Не менее интересными были другие единомышленники Анатолия Дмитриевича: тот же Борис Сиротин, самарский поэт; известная Татьяна Глушкова, или руководитель кировской писательской организации, обаятельный Владимир Арсентьевич Ситников… Разные личности, но яркие и глубокомыслящие, неравнодушные к тому, что творится в России; умеющие искренне сопереживать и быть по — человечески простыми, добрыми; обладающие высокой культурой морали и нравственности. И как я благодарен Знаменскому, что он свел меня с этими

талантливыми, чистыми людьми; и спасибо ему, что не забывал обо мне ни одного дня, обязательно находил, где бы я ни оказывался, и приглашал к общению с его друзьями.

Из Москвы в Переделкино, помню, нагрянули издательские работники, привезли Знаменскому корректуру вычитывать. И Знаменский постучался ко мне в номер, позвал к себе, представил москвичам. Посидели, поговорили о жгучих проблемах…

К Анатолию Дмитриевичу многие отдыхающие тянулись, признавая в нем достойного духовного лидера. Он объединял не только единомышленников, а и всех честных, порядочных оппонентов, с которыми приходилось спорить, что-то доказывать. И потому было шумно, весело, тревожно, и… неспокойно, ибо Знаменский всем напоминал, что ждет каждого из нас, если будем пассивничать. И какое оживление! Знаменский и мне не давал расслабиться. Выслушивая мнения несогласных с его суждениями оппонентов, он нередко незаметно подмигивал мне, мол, давай, Геннадий, подсоби и не молчи, не тушуйся, скажи что-нибудь; и приходилось вставлять словечко, реплику.

Устав от шумного общения с отдыхающими, я отправлялся на станцию, пил пиво и с каким-то радостным ощущением смотрел на проносившиеся электрички. А однажды ударила блажь, решил пообщаться с библиотекаршей, симпатичной молодицей: почему бы и не повольничать! Но дело вовсе не в ухаживании, а в том, что меня неожиданно увлек Писемский, дореволюционный писатель: известный, но не так, к примеру, как Гоголь и Достоевский. Давным-давно, в юности, я читал одну из его забавных вещиц, повесть «Комик». Помню, хохотал — так рассмешил меня неуклюжий персонаж, ярко изображенный Писемским. И вдруг захотелось еще разочек перелистать ту самую повесть. Но когда я прочитал «Комика», то того впечатления, какое я испытал в молодости, повесть Писемского, к сожалению, не произвела. Автор показался мне скучным своим громоздким повествованием и старомодным витиеватым мужичьим языком, короче, я пережил разочарование, едва одолел книгу. Книгу я вернул, и тут мое внимание привлекла библиотекарша. Было мне, например, непонятно, как ей удается совмещать две совершенно несовместимые должности — библиотекаря и в ночные часы работать в баре, где посетителями в основном являлись не столько отдыхающие писатели, сколько заезжие бизнесмены и денежные кавказцы. Что же важнее для нее — духовная сторона ее деятельности, имеется в виду книги, которые она выдает отдыхающим, или ей интереснее торговать вином и пивом, обогащаясь при этом?

Я попытался было после завтрака прошмыгнуть по лестнице,

ведущей к библиотеке, как меня окриком остановил Знаменский:

— Ты куда это, Пошагаев?! Слушай, подходи к нашей беседке, там собираются ребята, я прочту отрывок о Миронове! Новая глава, жаль, не вошла в книгу…

Ну как не пойти, это же интересно! Ладно, в следующий раз схожу в библиотеку… Очевидно, Анатолий Дмитриевич не переставал отыскивать малоизвестные архивные материалы о Гражданской войне и очень сожалел, конечно, что эти дополнения не вошли в роман — хронику «Красные дни».

Но что интересно: только я настроюсь в библиотеку, и тут появляется Знаменский на моем пути; будто выслеживал меня:

— Стоп! Ты куда это опять направляешься, Геннадий?!

— В библиотеку…

Анатолий Дмитриевич взмахом руки заворачивал:

— После сходишь, успеешь. Ребята наши на аллее, айда послушаем Сиротина Бориса. Новую поэму будет читать.

А после ткнусь в библиотеку — она закрытая, куда-то отлучилась симпатичная фея. Так и охладел к ней.

Дни отдыха были на исходе. У Анатолия Дмитриевича путевка заканчивалась на неделю раньше. Помню, как мы всей компанией провожали его на электричку. Денек выдался ясный, лесной воздух был чист, прохладен, чувствовалось приближение осени… Должен сознаться, что все эти переделкинские дни были насыщены впечатлениями от общения с Анатолием Дмитриевичем, а также полезными и небезынтересными разговорами, и вдруг как-то пусто стало без нашего лидера. Я словно бы осиротел, привык уже к тому, что он дисциплинировал и чему-то учил меня, подсказывал, помогая тем самым образовываться. Оставшись без доброго и строгого наставника, вернувшись к себе в номер, я закрылся на ключ. Работа не шла, не писалось, но я, злясь на себя, приучался к усидчивости и жертвенности. Лишь к концу дня возникло желание заниматься рукописью, и я с какой-то радостью окунулся в черновые наброски, с головой погрузился в работу.

Незаметно разъехались мои знакомые, друзья Анатолия Дмитриевича, и скучно, необычайно тихо, неуютно сделалось на территории Дома творчества, лишь собаки громадные носились кучами вокруг корпуса, не зная, кого бы облаять, и не было уже той компании, душой которой был Знаменский, которому я был благодарен, что не давал мне расслабиться — «Да святится Имя Его!».

Петр Придиус
СУДЬБА КАЗАКА — ЛЕТОПИСЦА

«Подлинное гражданское и писательское мужество проявил Анатолий Знаменский, начав разрабатывать в начале 80–х казачью тему. Со времен Шолохова на казачьем дворе, образно говоря, и конь не валялся»

Трудно, даже трагично сложилась судьба этого незаурядного человека. В предвоенном 40–м он, десятиклассник — отличник, был арестован по доносу и сослан с родного Дона на Крайний Север на целых 18 лет. Работал чернорабочим, строителем, десятником, нормировщиком, газетчиком… Стал писателем. Без окончания вуза, но был энциклопедически образованным. За полвека литературной деятельности издал сорок книг: в прозе, стихах, в статьях не только по проблемам литературы. И все — как верстовые столбы, как вехи неповторимой эпохи. Всесоюзное признание получили его повести и рассказы «Прометей № 319», «Кубанка с красным верхом», «Донская альтернатива», «Не белы снега», «Безымянные высоты», «Песнь песней», «Обратный адрес»

и, особенно, дилогия «Красные дни», которую автор именовал своей «книгой — судьбой», и на которую ушло более пятнадцати лет.

Знаменский был великолепным прозаиком, острым публицистом, вдумчивым критиком, объективным редактором, мудрым, душевным человеком. Он шел в одной «упряжке» с Федором Абрамовым, Евгением Носовым, Виктором Астафьевым, однако, по чьему-то злому умыслу ни в каких литературных «реестрах» России практически не значился.

Всего лишь год не дожил Знаменский до своего 75–летия. Как ни прискорбно это сознавать, его уход из жизни был связан, как и в юности, с предательством так называемых «друзей». Однако книги Знаменского продолжают будить в людях чувства гордости за русский народ и, прежде всего, за возрождающееся казачество. Знаменский был казаком по роду — племени, по духу, по характеру, по всему складу своей жизни. И это наложило на его творчество отпечаток истинного рыцарства и благородства.

Мне посчастливилось знать Анатолия Дмитриевича добрую четверть века. Не скажу, что были мы друзьями, нет, такого «нахальства» даже теперь, задним числом, я себе не позволю. Тут и разница в возрасте, и он — мэтр, а я, собственно, кто и что?.. Кстати, это он, Знаменский, как-то порекомендовал мне подумать о вступлении в Союз писателей.

В последние годы Анатолий Дмитриевич часто заходил к нам в редакцию «Кубанских новостей» и по обыкновению с ехидцей спрашивал: «А знаете, зачем я пожаловал? Нет? Чтобы дать руководящие указания редактору». И заливался смехом до слезинок в глазах. Иногда приносил в газету свои материалы на самые жгучие, неотложные темы, и эти публикации, как правило, имели широкий резонанс. Нередко заходил и просто так, чтобы отвести душу. Но гораздо чаще, ну не каждый день, мы прогуливались в уютном садике у его дома (недавно застроенного гаражами). Дело в том, что мы жили, можно сказать, в одном квартале, только на разных улицах, и Анатолий Дмитриевич, бывало, еще с утра позвонит, поинтересуется: «Как у вас вечер? Может, прогуляемся?». Я, естественно, всякий раз соглашался, потому что это были уникальные в своем роде прогулки, о чем я еще скажу…

Вскоре после публикации моей маленькой повести «Даша и Рыжка» Анатолий Дмитриевич, войдя в редакторский кабинет и поздоровавшись, как всегда, — «Привет! Привет!» — молча расстегнул свою неизменную спутницу — папку темно — коричневого цвета, извлек оттуда листок, почему-то всего лишь единственный (обычно его статьи были на полгазетной полосы), и

я еще не успел вымолвить: «Это и все?», как он, нарочито откашлявшись, изрек: «Вот вам моя рекомендация. В Союз. О двух других не беспокойтесь, я уже договорился».

Прием в Союз, надо сказать, имел в нашей организации одну удивительную особенность. Если говорить открытым текстом, без обиняков, то организация состояла из двух «палат» — чисто русской и русскоязычной (замечу в скобках: вторая, русскоязычная, с развалом СССР моментально откликнулась на призыв своих демократических вождей, вроде Евтушенко, Вознесенского, Шатрова и К°, и выделилась в отдельную организацию так называемого Союза российских писателей). Русскую «палату» в СП негласно возглавлял Анатолий Знаменский, русскоязычную — Юрий Абдашев. И хотя русскоязычные в ту пору составляли где-то четвертую или даже пятую часть всей организации, они, представьте, при голосовании могли сотворить «погоду»: вот недостает, по их милости, вступающему всего — навсего одного голоса и все, хоть ты умри. Случалось, годами никого не принимали в Союз: одного при голосовании рубили те, другого — эти…

Ведь известно было наперед, по какую сторону баррикад окажется вновь принятый. Потом вдруг наступал «Юрьев день» — принимали и с того, и с другого фланга. Как рассказывал мне сам Знаменский, этому предшествовали его переговоры (обычно телефонные) с Абдашевым. Договаривались по — рыцарски: такого-то не «рубить»!

Тут уместно будет заметить: дух рыцарства был присущ Знаменскому в широком смысле, с ним можно было смело идти в разведку, коль пообещал — не подведет! Абсолютно обязательный во всем — в мыслях, в творчестве, в поступках, — это было, пожалуй, одним из самых ярких качеств характера Анатолия Знаменского. Другое, столь же важное и яркое его качество — оптимизм. Какой-то генный, жизненный, не наигранный оптимизм. Нет, он не был рубахой — парнем, этаким весельчаком, балагуром. Дело совсем в другом.

Приведу всего один эпизод. Как-то мы разговаривали по телефону, и я пожаловался: мол, как дальше жить, Анатолий Дмитриевич? Что будет с Россией? Ведь завлабы, всякие эти Гайдары, Чубайсы, бурбулисы, Шахраи завладели страной, и не видать никакого

просвета. В трубке какое-то время молчание, потом послышался глуховатый голос: «А вы, дорогой, не расстраивайтесь по этому поводу. Татаро — монголы вон сколько лет хозяйничали на Руси? Триста, а чем все закончилось?!». «Спасибо, — только и ответил я, — ус — по — ко — ил…». И мы

оба рассмеялись. Грустно рассмеялись.

…А это случилось накануне августовского переворота в стране. В воздухе царила эйфория бесшабашной свободы и вседозволенности. Целыми днями транслировались заседания Верховных Советов СССР и России. Какие это были увлекательные спектакли!.. Но обманутый народ все равно жаждал правды. В Краснодаре в те дни чуть ли не нарасхват были два молодых российских депутата, которые выступали на предприятиях, в редакциях газет, в вузах… Мы тоже пригласили их, чтобы послушать, порасспрашивать. И что же? Эти 30–летние депутаты — кстати, один из них впоследствии создавал наше кубанское «Отечество», а второй окопался в ведомстве Чубайса — такую волну погнали: дескать, все, конец тоталитарному режиму, конец «руководящей» и «направляющей»! Нет и не будет возврата к сталинизму… И так далее в том же духе. Не секрет, кое — кому из писателей пришелся по душе крайний радикализм молодых «слуг народа», послышались голоса одобрения: «Правильно!», «Давно пора!».

И тут слово взял Знаменский. Усмиряя свое волнение, он слегка, «кхе — кхе», прокашлялся, выдержал многозначительную паузу и, обращаясь к гостям, вдруг сказал: «Милые вы наши ребятки! Хотел бы я посмотреть на вас этак лет через десять или даже через пяток — какого Лазаря вы запоете? У меня, пожалуй, больше, чем у кого-либо из присутствующих, оснований обижаться на Сталина, однако, боюсь, как бы вместе с озмылками не выбросили мы и ребенка. Прошу вас: повнимательнее присмотритесь к тем, кто несет нам эту самую свободу — к Собчакам, поповым, Заславским, да и к Горбачевым, ельциным, Яковлевым, шеварнадзе тоже… Попомните мое слово, это новоявленные иуды…».

Анатолий Дмитриевич говорил что-то еще, но мне запомнилось именно это. Эффект от встречи с молодыми депутатами России оказался совершенно иным, нежели ожидалось.

За бескомпромиссность суждений, за нескрываемую русскость и патриотизм оппоненты как только ни называли Знаменского: и ортодоксом, и коммунистом (кстати, членом партии он оставался до самой кончины), и патриотом, и даже сталинистом. Вот это последнее, «сталинист», звучало применительно к Знаменскому, мягко говоря, странно. Однажды, в разговоре о том, как многие, казалось, прежде порядочные люди перебежали в лагерь «демократов», я спросил: «А почему, Анатолий Дмитриевич, вас считают сталинистом?..». «Может, потому, — ответил он, — что я провел свою молодость в

сталинских лагерях?». Улыбнулся многозначительно, помолчал, потом вполне серьезно сказал: «Имейте в виду: в название «сталинские лагеря» лукавцы вложили большую долю лицемерия. Зачем, скажем, обижать Ежова, Ягоду, Берию?.. Да только ли их! Я не знал ни одного русского начальника ГУЛАГа. В этой системе действовали совсем другие люди — коганы, берманы, Френкели… Теперь их дети и внуки поносят Сталина, приписывают ему все беды и преступления. Но ведь это явное искажение истории…».

Несколько ранее, когда авторитет партии еще не был окончательно расшатан Горбачевым и его компанией, когда за всеми публикациями незримо следило недремлющее око (цензура), ежемесячник «Кубань» начал печатать главы из нового романа Анатолия Знаменского «Золотое оружие республики», названного потом дилогией «Красные дни». На секунду отвлекусь: кто читал этот роман, думаю, согласится со мной — его одного достаточно, чтобы автору стать известным и уважаемым писателем. Я в ту пору работал в «Кубани» заместителем редактора и довольно часто общался со Знаменским в связи с публикацией его романа. Что скрывать, мы не особо вчитывались до набора в его рукопись, хорошо знали: Анатолий Дмитриевич не только талантливый прозаик, но и сам отменный редактор. Кстати, это качество — умение редактировать — доступно далеко не всем писателям, а лучше сказать, не многим, даже единицам. И вот однажды, когда корректура номера была уже готова к вычитке, заявляется

Знаменский и говорит: «Я свою главу из номера должен забрать. Если хотите, дам новую, вот она». У нас немая сцена: чтобы Знаменский дергался?.. Включал задний ход? Невероятно! Он: «Потом все расскажу». Забрал главу. Заменили. Подобное в течение ряда лет повторилось дважды или трижды. Но после первого раза я уже знал причину, он рассказал мне о ней во время прогулок по зеленой лужайке.

Роман «Красные дни» — произведение исключительно острое, с какой стороны ни возьми — с классовой, политической, социальной, национальной… Анатолий Дмитриевич, наученный горьким опытом с юношеских лет, чутко ориентировался в политической обстановке и потому, оказывается, заменял уже набранные в типографии главы, чтобы нас, редакцию, не подставить. «Мне-то что, — добродушно похихикивал он, — с меня как с гуся вода, а вас могут и к ногтю прижать или разогнать. Как, например, это случилось с журналами «Волга» в Саратове, с «Авророй» в Ленинграде…».

Согласимся: не всякий автор способен на такой поступок.

Наши беседы с Анатолием Дмитриевичем, в зависимости от

места встречи, носили разный характер. Если это происходило в официальной обстановке, будь то у меня в «Кубанских новостях» или в Союзе писателей, беседа обычно касалась дел текущих, насущных. Когда же мы встречались вечерами на зеленой лужайке у его дома или, скажем, в выходной день в его квартире, что случалось не так часто, там круг вопросов заметно расширялся и, конечно, в основном за счет литературы. Анатолий Дмитриевич обладал энциклопедическими знаниями, хотя формально, как уже сказано, он не имел высшего образования. «Свои университеты я прошел на Севере, в Коми, — в который раз напомнил он. — Там я общался с умным народом — с академиками, композиторами, писателями… — замолкал вдруг и под характерное «кхэ — кхэ» добавлял: — Вообще дураков в лагеря не сажали… Кхэ — кхэ… Это факт».

Знания его были не просто обширными, но глубокими. Думаю, за полный университетский курс литературы Знаменский знал о писателях все: кто, когда и что написал, что послужило поводом, какой имел резонанс, в каких журналах или издательствах печатался… В нем, даже в зародыше, не проглядывался нигилист-отрицатель всего и вся, «акромя себя», столь распространенный в среде пишущей братии. Он умел объективно оценить творчество и тех, кто ему близок и дорог — «ты мне друг, но истина дороже» — и тех, кому он явно не симпатизировал.

Знаменский дружески общался с Евгением Носовым и Борисом Можаевым, гордился своей недолгой, но сердечной дружбой с Федором Абрамовым, дорожил вниманием к себе со стороны Юрия Бондарева, очень переживал размолвку с Виктором Астафьевым, с которым сначала близко сошелся, кажется, во время учебы на Высших литературных курсах. Анатолий Дмитриевич показывал мне книги Астафьева с дружескими, по — астафьевски хлесткими автографами, раз или два, к случаю, зачитывал любопытные места из его писем. Астафьев и Знаменский шли в литературе, как я понял, говоря по — кавалерийски, ноздря в ноздрю; однако так называемые пробивные способности были у них почти полюсарно разные, что в конечном счете и сказалось на дальнейшей судьбе: на шумной славе одного и полном безмолвии вокруг имени другого. Не знаю, насколько это правда, но, говорят, существовал своего рода «черный список» с именами писателей, о которых в прессе не должно было быть (и не было!) ни хвалы, ни хулы, просто как бы нет такого писателя на свете и все. Большой русский писатель Анатолий Знаменский занимал в том «списке» не последнее место. А почему и за какие грехи он угодил в тот «список», так

никто и не спросил у Константина Михайловича Симонова…

Разлад же между Астафьевым и Знаменским произошел, по-моему, на довольно любопытной, отчасти странной основе. Жили они, как известно, не поблизости друг от друга, правда, в созвучных городах: один в Красноярске, другой в Краснодаре. Изредка переписывались, еще реже встречались, когда бывали в Москве. Один из своих рассказов Виктор Петрович посвятил Знаменскому,

чему Анатолий Дмитриевич, естественно, был рад, однако, при переиздании книги это посвящение почему-то вдруг исчезло. «Почему?» — в лоб спросил друга при очередной встрече Знаменский. «А зачем ты вступил в КПСС? — ответил, как отрезал, Астафьев. — Мы же, помнишь, договаривались не вступать в эту самую…»

Между тем, беспартийность Астафьева была весьма своеобразной. Он сам любил рассказывать случай из своей жизни в Вологде.

…«Пригласил как-то меня к себе первый секретарь обкома, покалякали мы о том о сем, потом он и говорит: «Виктор Петрович, давай-ка посоветуемся на бытовую тему. На днях я с семьей переезжаю в новый особнячок, не хотел бы ты занять мою квартиру? Как-никак шесть комнат, балкон, лоджия…». На хрен, отвечаю, мне такие хоромы, ты что, хочешь превратить мою Марию Семеновну в уборщицу? А секретарь гнет свое: давай, мол, позвоним ей, Марии Семеновне, что она скажет. Позвонил, а та дура и согласилась».

Любил Виктор Петрович вспоминать и свой визит к генсеку Горбачеву. Та памятная беседа происходила, как он говорил, с глазу на глаз, была сердечной, откровенно — доверительной. Уходя от генсека, писатель задержался в конце длинного кабинета, у самой двери, и, обернувшись, произнес: «Помогай вам Господь Бог!» на что, якобы, услыхал в ответ: «Да больше надеяться и не на кого».

Хрестоматийно известным стал факт приезда в сибирскую глубинку, в Овсянку, к писателю Астафьеву первого (!) Президента России Ельцина. Само собой разумеется, Борис Николаевич приезжал к енисейскому «затворнику» не с пустыми руками. А самым щедрым подарком стало, несомненно, обещание издать полное, 15–томное собрание сочинений писателя. Обещание, надо сказать, почти осуществилось, и этому можно только радоваться, ибо «замах» на полное собрание или хотя бы на избранное есть голубая мечта каждого писателя. И если мы сегодня говорим о сбывшейся мечте замечательного русского прозаика Виктора Петровича Астафьева, то вовсе не с целью

задним числом укорить его, а в назидание живущим. К чему кривить душой, есть они и у нас, на Кубани,

писатели, подобно Астафьеву, кичившиеся своей беспартийностью, стоявшие вроде бы в оппозиции к власти, но загребавшие жменями и пригоршнями и с партийных, и с властных столов.

Подлинное гражданское и писательское мужество проявил Анатолий Знаменский, начав разрабатывать в начале 80–х казачью тему. Со времен Шолохова на казачьем подворье, образно говоря, и конь не валялся. Верно, где-то изредка вспыхивали казачьи костерки, в том числе и в творчестве Знаменского, но чтоб так мощно, так ярко, так жарко, как в романе «Красные дни», такого в течение десятилетий не было. «Мне, можно сказать, крупно повезло, — признавался сам Знаменский. — Ко мне обратились ветераны-конармейцы, лично знавшие казака — полководца Миронова и передали мне крапивяный чувал уникальных документов, так что мне не пришлось месяцами пропадать в библиотеках и архивах».

Писателю в полной мере пригодился и личный, так сказать, семейный опыт. Его отец, донской казак Дмитрий Максимович, служил полковым писарем в Первой Конной, дома рассказывал своим детям о казаках, об их завидной и горькой судьбе (в скобках заметим: когда 17–летнего Анатолия арестовали, отцу, за сына, тоже дали срок, сослав его на 10 лет на Колыму).

Без преувеличения можно сказать: писатель Знаменский явился духовником возрождающегося казачества, а его роман — дилогия «Красные дни» стал для многих казаков настольной книгой.

Хорошо помню, как искренне, по — детски радовался Анатолий Знаменский, только что возведенный в чин войскового старшины, одетый в соответствующий чину мундир.

Радовался сын потомственного казака, радовался казачий летописец!..

Столь же хорошо помню его искренний восторг по поводу присуждения ему премии имени Шолохова. Первым в стране Анатолий Дмитриевич получил эту, почитай, казачью, истинно русскую премию. Помнится, он, возбужденный, облегченно вымолвил: «Все! Больше ничего не надо!..».

Как уже было сказано, Москва старательно замалчивала писателя — патриота Знаменского. Всего лишь дважды за сорок (!) лет и то в перечне фамилий упомянула его главная писательская трибуна страны — «Литературная газета».

Хочу пояснить: Анатолий Дмитриевич, как, быть может, никто другой, сам был отменным критиком, и под его руку,

честно говоря, лучше было не попадать. Он буквально на лету улавливал суть рукописи, ее достоинства и недостатки, и если его просили высказать свое мнение о будущем произведении, он тут же отвечал: «Эту возьму, а вот эту — нет, потому как вижу — чушь собачья». Это у него было коронное — «Чушь собачья». Мог еще добавить: «Лучше не связывайтесь — графоман!».

Не без удовольствия делился Знаменский тем, что сообщали ему о прочитанных его книгах коллеги и читатели из ближних и дальних городов страны. Как-то похвалился: «Юрий Бондарев звонил, понравилась ему моя «Альтернатива». Подумалось: еще бы не понравиться! «Донской альтернативой» зачитывались сотни, тысячи кубанцев, эта вещь была подлинным прорывом в общественном сознании.

Не секрет, писатель был чуток к отзывам о его творчестве в местной прессе. А, собственно, где ж еще? Но вот загадка: ни разу, ни единым словом не обмолвился он о моих публикациях о нем. Правда, их и было не так много, может, пять, может, шесть — семь. И посвящались они либо выходу его новой книги, либо очередному юбилею. На память приходят две таких публикации, каждая на полную газетную полосу: первая о дилогии «Красные дни», вторая — о его 70–летии весной 1993–го. Как-то родные Анатолия Дмитриевича открыли мне «секрет»: «Раз ничего не говорит, значит, доволен. Мы-то знаем — доволен!..».

Надо сказать, что не только центральная, но и местная пресса не очень баловала писателя своим вниманием. Публикации на страницах газет появлялись от случая к случаю, в основном «по случаю». Серьезные, обстоятельные исследования творчества Знаменского изредка публиковались за подписями профессора Николая Глушкова, литературоведов Ирины Гусаровой, Николая

Михайлова, Лидии Фоменко, публициста Евгения Берлизова, донского краеведа Антона Казьмина, еще одного — двух ученых…

В их ряду долгие годы пребывал и Виталий Канашкин, о котором здесь не хотелось бы даже упоминать, если бы не столь трагическая развязка, вызванная его бесчеловечностью и коварством. Из песни, как говорится, слов не выкинешь.

Господин Канашкин принадлежит к тем странным людям, которым абсолютно все равно, хвалят их или ругают, главное, чтоб говорили о них. Критик Канашкин издал с десяток книг о том, как не надо писать стихи и прозу, при этом сам ни единой строчкой не показал, как же надо писать. С кем и с чем только не сравнивают господина Канашкина. С автомобилем без тормозов. С пьяным, в руках которого граната. С инструктором по плаванию, ни разу в жизни не входившим в воду.

Лично я не придаю этим метафорам особого значения. Но

знаю доподлинно: любимое слово Канашкина — эпатаж. Своеобразный садист — скандалист. Без этого он жить не может. Канашкин вездесущ: проводи его в дверь, он через замочную скважину вернется, или через окно. Он весь какой-то ходульный и схожий со знаменитостями: лицом вроде Евтушенко, походкой — в Борю Моисеева, повадками — в Аллу Борисовну, голосом — в Верку Сердючку…

С давних пор, когда Канашкин был еще совершенно безвестным, он все свободное время проводил возле писательской организации, у врат храма, как вот те, которые сидят и ждут — вдруг подадут. Так бы и сидел этот критик, никем не замеченный, если бы не подвернувшийся случай. И случай тот, надо сказать, довольно загадочный.

Одному русскоязычному партократу показалось, что молодой прозаик Виктор Лихоносов слишком круто пошел в гору, надобно, дескать, осадить. Выбор пал на Канашкина: этот, дескать, все может, давай, доцент, проучи! И он «проучил», тиснув в альманахе «Кубань» статью «Куда бежит Троха?». Объективности ради нужно признать, статья-то в основе своей была справедливая, может, с некоторыми передержками. Однако какой ор

поднялся в общественных кругах от Кубани до столицы! Из Москвы в Краснодар срочно пожаловал сам «Дядя Степа» и, прирожденно заикаясь, вопросил: «А где тут этот…?» — в его устах фамилия Канашкина прозвучала непотребно слуху…

Однако, не многие и не сразу догадались об истинных мотивах той скандальной публикации. А ларчик открывался просто. Редактором альманаха был Анатолий Знаменский, вот на него-то и обрушился основной удар за публикацию: мол, причем тут какой-то кандидатишко, ты — редактор, ты — прозаик, а, следовательно, ты и… завистник?.. Как бы там ни было, а коварная задумка русскоязычного идеолога из партийных верхов достигла своей цели: два русских писателя, абсолютно не схожих, шедших каждый своим путем, рассорились и не подавали друг другу руку как минимум полтора десятка лет. Вот уж воистину: разделяй и властвуй! Настанет время, и критик Канашкин будет верноподданнически превозносить Лихоносова до небес и зверски тиранить Знаменского, но это потом…

Тут, пожалуй, уместно привести весьма симптоматичный эпизод. Как-то накануне краевого семинара редакторов городских и районных газет я напомнил идеологу крайкома просьбу журналистов о возможной встрече с писателем Знаменским, которого сам, кстати, знал еще только по книгам. Секретарь крайкома покачал головой: «Зря затеваете! Откажется… — и

добавил: — Писатели книги пишут, им не до вас и ваших газет…». Как ни странно, Анатолий Дмитриевич ответил на наше приглашение согласием, уточнив только: где, когда и о чем разговор?

Из того его давнего размышления о призвании и признании писателя мне особенно запомнился эпизод об отношениях редакций к авторам.

«Однажды в альманах «Кубань», — повел разговор Знаменский, — поступила по почте школьная тетрадка с рассказом, написанным бисерным почерком. Автор, а им был сельский учитель русского языка и литературы, просил редакцию оценить рассказ и, по возможности, как сами догадываетесь, опубликовать. Литконсультант, читавший рассказ, передал рукопись ответсекретарю, пожав при этом плечами: дескать, и почерк неразборчив, и толком не поймешь, о чем он. Примерно с теми же словами ответсекретарь пришел к редактору. Тот, недолго думая, распорядился: «Ну и верните тетрадку автору, может, она ему пригодится, вон сколько там еще чистых листов…».

Тетрадку учителю вернули. А он, настырный, снова ее в конверт — и в журнал «Новый мир». Там ситуация повторилась, но с точностью до «наоборот». Младший редактор, не дочитав рукопись, побежал к старшему: «Вы только посмотрите, как сочно, как оригинально». Тот — к ответсекретарю, ответсек — к заму, зам — к редактору: «Александр Трифонович, вы только полюбуйтесь, — талант!..» Твардовский велел снять из очередного номера равный по объему материал, а рассказ учителя поставить. Твардовский умел распознавать таланты на взлете. А тем автором был наш Виктор Лихоносов, которого теперь знает вся страна, которого мы высоко ценим и любим».

Такими словами закончил свой рассказ Анатолий Знаменский о своем коллеге. Никто из нас ни сном, ни духом не подозревал, что Лихоносов и Знаменский давно находятся во враждебных отношениях, не общаются, на чем, надо сказать, «грели руки» их недоброжелатели. Как я впоследствии убедился, личная симпатия или антипатия никогда не заслоняла Анатолию Дмитриевичу истину, не мешала ему судить трезво, объективно о человеке, о событии.

В середине 80–х доцент Канашкин напечатал в альманахе «Кубань» цикл статей о литературном процессе на Кубани. В этом «цикле» критик отчаянно размахивал саблей, не открывая глаз, за что писатели выдали полной мерой, прежде всего, редактору альманаха, новому, не Знаменскому; а в отношении Канашкина вынесли «вердикт»: впредь чтоб и духу его тут не было! Короче

говоря, в писательских кругах Канашкин стал как бы «персоной нон грата».

Но чудны дела твои, Господи. Где-то с год спустя в разговоре со мной опальный Канашкин будто между прочим спросил: «Как вы думаете: не стать ли мне членом Союза писателей? Не занять ли пост редактора альманаха?». Честно говоря, я посмотрел на него, как на тронутого, но вслух, не без иронии, сказал: «А право, любопытно. Очень даже любопытно!..».

Тут вскорости наш Канашкин взял и ни с того ни с сего перенес какой-то инфаркт, чем внезапно разжалобил сердобольных «инженеров человеческих душ», а через какое-то время, представьте себе, был принят в Союз писателей СССР. А еще через какое-то время осуществилась и вторая его сумасбродная мечта: он был назначен редактором альманаха «Кубань». Фантастика? Сказка? Многие терялись в догадках. Да, в общем-то, истина покрыта тайной и по сию пору. Одна из версий, весьма похожая на правду, — длань Знаменского. С его мнением считались и в крайкоме, и в СП в Москве. Сегодня многие писатели убеждены: этого джина выпустил из бутылки Знаменский. Конечно, Анатолий Дмитриевич хотел видеть его объективным критиком, а не литературным террористом, однако, случилось именно второе.

Критик Канашкин время от времени печатал в газетах статьи о Знаменском, помещал отрывки из его произведений — в альманахе «Кубань», который, к слову сказать, под шумок перестройки он потом увел из-под носа писательской организации, попросту говоря, украл или, выражаясь высоким стилем, по Чубайсу, приватизировал. Канашкин всюду и везде выдавал себя за «человека Знаменского», это, думается, немало помогало ему карабкаться наверх и по ученой «лестнице»: зав. кафедрой, доктор наук, профессор…

В рецензиях и статьях о творчестве Знаменского господин Канашкин не жалел красок. Достаточно привести лишь названия его публикаций: «Высота добра», «Главное — человек», «Высокого огня касаясь», «Народа душа родниковая»…

Вместе с тем, при каждой новой публикации Канашкина Анатолий Дмитриевич, добродушно посмеиваясь, кхе — кхе, произносил:

«Он, подлец, ни одной моей вещи толком не читал». Эти слова он говорил и в глаза самому Канашкину, который все чаще за спиной писателя ерничал в его адрес, грязно спекулируя на его тюремном прошлом. Кстати, Знаменский никогда ни в разговорах, ни в творчестве не козырял, подобно некоторым, своими незаслуженными обидами и страданиями лагерной

жизни. Как бы там ни было, но облепленный званиями ученого, писателя, редактора, господин Канашкин однажды, вероятно, пришел к мысли, что впредь ему, вассалу, Знаменский уже ни к чему в качестве сюзерена. И он разразился в базарно — перестроечной газетенке гнусной публикацией о своем вчерашнем хозяине, хлестко озаглавив ее «Крылья фраера». Если бы с этой писаниной ознакомился Иуда Искариот, он определенно возгордился бы: дело его процветает…

А второй ошибкой Знаменского было обращение в суд с требованием наказать клеветника. Сам он исправно являлся в суд в назначенный день и час, а ответчик — клеветник трусливо прятался, оправдываясь: лекции, кафедра, семинары… Так повторялось раз пять, если не больше. Я видел: Анатолий Дмитриевич терзался как загнанный зверь. Слабый здоровьем, уже пожилой, он столкнулся с неимоверным предательством. К стыду нашему, мы не пришли вовремя на помощь Анатолию Дмитриевичу, оставили его один на один с бедой. Будь мы рядом, может, трагедия прошла бы стороной. Может быть. Но мужественное сердце гражданина, летописца, казака, пропускавшее через себя все боли, муки, страдания народные, в конце концов не выдержало…

Понимаю: не очень к месту столь подробный рассказ о литературном киллере, но светлая память о замечательном русском писателе взывает о сатисфакции.

Сегодня, перечитывая Знаменского, я не перестаю удивляться его могучим талантом, его гражданской смелостью, его истинно казачьим юмором. Как и всякий одаренный человек, Анатолий Дмитриевич был честолюбив, но это не мешало ему называть Василия Белова «Львом Толстым 20–го века». Сам талантливый, он преклонялся перед гением Шолохова и знал его творчество, что называется, назубок. Он первым в стране обратил внимание учителей литературы на то обстоятельство, что Макар Нагульнов никак не тянет на положительного героя, он скорее троцкист, нежели большевик, хотя сам того возможно и не сознает. И в доказательство приводил монолог Нагульнова, обращенный к председателю сельсовета Андрею Разметнову: «Как служишь революции? Жа — ле — ешь? Да я …тысячи станови зараз дедов, детишков, баб… Да скажи мне, что надо их в распыл… Для революции надо. Я их из пулемета… всех порешу!».

Знаменский полагал и, думается, не без основания, что в новом веке Шолохова прочтут по — новому, настолько он глубок и многогранен.

Без злобы, спокойно, но с тонкой иронией относился Анатолий Дмитриевич к бесконечному муссированию нелепых

слухов о Шолохове, якобы, присвоившем чужую рукопись «Тихого Дона». Известно, что к слухам о «плагиате» присоединил свой голос и Солженицын, которому, как видно, не давал покоя колоссальный международный авторитет Шолохова. Может, самовлюбленному «пророку» мечталось: а вдруг пьедестал опустеет?.. Недруги Шолохова (читай: всего русского!) обычно называли «истинным» автором «Тихого Дона» донского казака Федора Крюкова, закончившего свой жизненный путь в 1920–м на Кубани в Добрармии Деникина. Но никто иной, как именно Знаменский, был инициатором издания сборника художественных произведений Федора Крюкова, дабы и помянуть его добрым словом, и лишний раз показать читателю абсолютную разницу между ним и Шолоховым, между способным подмастерьем и великим мастером.

Наверное, по какому-то высшему промыслу творческая судьба, можно сказать, свела Знаменского с Шолоховым на самом широком литературном поле. Когда-то одна дотошная корреспондентка упрекнула Шолохова, еще довольно молодого, что привлекательные герои «Тихого Дона» почему-то только белые, а почему, дескать, не красные? «О красных в гражданской войне, — ответил Шолохов, — напишет, видимо, кто-то другой».

Этим другим, пожалуй, и суждено было стать Анатолию Дмитриевичу Знаменскому. Трагедия Филиппа Миронова, главного героя «Красных дней», героя не выдуманного, конкретноисторического, весьма схожа с трагедией Григория Мелехова. Но это уже не белый — красный командир. Миронова знал и ценил Ленин, перед ним преклонялись казаки всего Дона, а счеты с ним свел «демон» Троцкий. Лев Давидович велел, как бы нечаянно, пристрелить несговорчивого казака в момент прогулки арестованных в тюремном дворе. И лишь с полгода спустя Владимир Ильич поинтересовался: «А где, скажите-ка, наш Миронов?». Увы!..

Не осмеливаюсь сопоставлять эти два романа — «Тихий Дон» и «Красные дни», — сравнивать их в художественном плане, это право читателей, но что это две стороны одной медали — художественного отображения гражданской войны на Дону и Кубани — факт неоспоримый. И тот и другой роман о трагедии казачества, спровоцированной яростными русофобами.

Сегодня нам, кубанцам, очень не хватает Знаменского. Не хватает всем: и читателям, и писателям. Впрочем, не только нам, скорее — всей России…

Виктор Ротов
ОЗАБОЧЕННЫЙ ГРАЖДАНИН РОССИИ

«Анатолий Дмитриевич — один из немногих, кто поднял свой голос в защиту Шолохова»

1. Некоторые откровения

В кабинете писателя все сохраняется так, как было при нем: на столе — Сизиф, катящий каменную глыбу в гору. На стене висят на гвоздике, в порядке реликвии, несколько объявлений о встречах писателя с читателями. Диван, на котором он умер… Сидя. И книги, книги, книги… На столе раскрытая общая тетрадь, в которой Нина Сергеевна тщательно делает опись оставшихся рукописей и документов. Большая стопка папок.

Я открыл верхнюю. «Переписка с историками и ветеранами граждан, войны».

Среди писем — письма сына Миронова. Он тоже был в заключении. По странному совпадению — в том же лагере, где отбывал срок Знаменский. Там они и познакомились.

К. И. Приймы — журналиста, шолоховеда. Автора книги «“Тихий Дон” сражается».

В. И. Волгина — доктора филологических наук, ветерана гражданской войны, отбывшего длительное заключение на Колыме; инициатора гражданского иска против Буденного (и такое, оказывается, было). Оригинальный и смелый человек. В беседах со Знаменским на его вопрос: «Как вы решились подать иск на Буденного?», — ответил: «Мы судились не столько с самим Буденным, сколько со всей той историографией».

Н. В. Суетенковой — жены Ф. К. Миронова, которая сидела в той же тюрьме, что и муж. (В Бутырке. В женском отделении). Она пишет в своем письме:«… Во время прогулки незнакомый мужчина, проходивший вблизи меня, спросил: «Вы ничего не знаете о своем муже?». Я, вздрогнув, ответила: «Нет, ничего». — «Так знайте, он убит второго апреля во время одиночной прогулки по тюремному двору…».

И еще масса писем и документов, от которых действительно дух захватывает.

Анатолий Дмитриевич и Нина Сергеевна познакомились, когда он был еще в опале. В местах его спецпоселения, в Вой — Воже, Коми ССР. Она работала вольнонаемной в конторе. На его предложение руки и сердца откликнулась сразу, без колебаний. Потому что он ей нравился и как человек и из солидарности по одинаковой судьбе: за ее родителями тянулся шлейф репрессированных. Родители в свое время имели богатую пасеку, жили доходно, а потому подлежали раскулачиванию. По этой причине семья оказалась сначала в Башкирии, а потом и в Вой — Воже.

— …За что полюбила его? — предвосхищает она мой нескромный вопрос, видно, по глазам поняв, что я маюсь спросить ее об этом. — С ним всегда интересно…

Перед встречей мы с Ниной Сергеевной обозначили главное направление темы нашего разговора: «Какой должна быть жена писателя?».

— Если сказать одним словом, — улыбнувшись сказала она, — терпеливой. Вижу, вы удивились моим словам. Да. Он был вспыльчивый. Но быстро отходил. Зная это, я старалась не «подогревать» его, когда он заводился. Помалкиваю себе. И точно — через полчаса подходит, обнимает нежно. Конечно, это нелегко быть терпеливой. Но мне помогала любовь. Нам помогала любовь, — поправилась она. — Обоюдная. Он даже стихи писал мне: «Не пою о любви, потому что от счастья боюсь задохнуться…». Он много работал.

А его работа, вы знаете, требует сосредоточенности. Он сравнивал труд писателя с трудом Сизифа, — Нина Сергеевна улыбнулась, скосив глаза на статуэтку. — Меня Господь Бог наградил понятливостью. Я понимала, что мое дело при таком муже — отлаженный до мельчайших мелочей быт. Он должен был видеть во мне настоящего устроителя нашей жизни. И, конечно же, чувствовать во мне некую опору. Поддержку. Ведь он всю жизнь прожил с клеймом «бывший зэк». Это было своеобразной психологической пыткой. Я это понимала, а потому всячески старалась затушевать в повседневности эти его воспоминания о прошлОом. Мы как бы вместе боролись с этим навязчивым комплексом «неполноценности». Все это — слагаемые терпения… Ну а главное, конечно же — любовь…

К нам в комнату вошла Оля (Ольга Анатольевна). Приобняла мать, видя, что та разволновалась, зарделась румянцем во всю щеку. Пригласила нас к чаю. За чаем как бы подменила мать в ее нелегком рассказе про отца.

— Папа был настоящим главой семьи: сказал — все. Обсуждению не подлежит. Правда, сказанное им, принятое им решение, было всегда продуманным. С позиции глубоко любящего мужа и отца. Мы это чувствовали, понимали и… ценили. Потому что он всегда оказывался прав. И все его решения были во благо семьи. Капризов и эксцессов с нашей стороны никогда не было. Мы четко знали: папа — это наша крепость; мама — это доброта, уют, ласка, тепло… Хотя мама наша тоже с характером. Она не была серой мышкой при волевом муже. А в чем-то она была даже сильнее папы. Она находила в себе силы утешить его в минуты душевной невзгоды. Мне кажется, он и в творчестве чувствовал себя уверенней благодаря умелой

поддержке мамы. Тут, наверно, мало любящего сердца, тут еще нужен умный подход…

Любящая, терпеливая, умная. Извечная триада, сопровождающая каждую нормальную семью. Но это легко сказать — быть умной при умном, я бы даже сказал, проницательном муже. Анатолий

Дмитриевич был проницательным человеком. Сколько раз я ловил себя на мысли, когда мы общались, что он знает, о чем я думаю в данный момент. Не говоря уже о том, что он чувствовал состояние моей души. Усмехнется бывало этак, или откинется слегка, мол, чудак человек! Да это же проще простого: «Я по глазам вижу, что ты не согласен со мной. Но ты запомни — пройдет время, и вы все поймете, что такое Лихоносов». Да, прошло время, и мы, почти все, абсолютное большинство нас, поняли, что это литературное чудо обглодано физически и духовно черной завистью. Ничто так не старит человека и ничто так не унижает его перед другими, как эта неистребимая зависть.

Но это к слову.

Нина Сергеевна благодарно смотрит на дочь Ольгу. Та дала ей возможность передохнуть, унять душевное волнение.

— …Я как-то знала, в чем и когда я должна проявить себя. Это дано от Бога. В нашем роду все отличались великодушием и смекалкой. Или, как говорят, — природным умом. Это дано, или не дано человеку… — вдруг она умолкла. Глаза подернулись печалью. — Он был прост, доступен, но с ним бывало непросто…

Мне показалось, что этими словами она как бы подвела черту в нашем разговоре. Ибо в этих ее словах, прихлынувших от воспоминаний, чувствовалась некая квинтэссенция затронутой темы. Нетрудно было понять, что в эти слова она вложила предельный смысл и откровенность. Но оставался еще один весьма деликатный вопрос, без которого весь разговор, вся наша беседа выглядела бы неполной. Хотя, мне показалось, что Нина Сергеевна устала.

— Вы меня простите, Нина Сергеевна, — собравшись с духом, обратился я к ней, — если вас не затруднит, расскажите подробнее о последних минутах жизни Анатолия Дмитриевича. Кроме вас этого никто никогда не расскажет.

Она вздохнула, видно, ожидала этого вопроса и страшилась его. Не очень охотно стала рассказывать:

— …В тот день он встал в хорошем настроении. Сказал: «Ты

знаешь, мне сегодня хорошо, как никогда. Схожу в поликлинику, выпишу лекарства. А то мои заканчиваются». Мы позавтракали, и он отправился. Взял с собой пару книг своих, мол, подарю врачу и сестричке.

Пришел домой довольный результатом, выложил на стол рецепты. Я стала собирать обедать. Он вдруг говорит: «Давай выпьем по рюмочке». (У нас свое, домашнее). Выпили по чуть — чуть, пообедали, и он пошел к себе в кабинет. Слышу, разговаривает с кем-то по телефону. И на повышенных тонах. А ему ни в коем случае нельзя волноваться. Я бросила глажку и к нему. Говорю — заканчивай. Еще и руку положила на плечо… Он закрыл ладонью трубку, говорит мне: «Михаил Ткаченко…». По лицу вижу — у них неприятный разговор. Делаю ему знаки — заканчивай! Но его разве остановишь?!. Говорили они долго — минут, наверно, пятнадцать-двадцать. О чем, я не знаю. Слышу только он говорит: «…Мы их не прогоняли, сами откололись. Теперь пусть попросятся к нам, если хотят воссоединиться… Ну и что, что Лихоносов «за»?.. Не надо давать ему трубку. Он, барбос, сидит, наверно, рядом, подсказывает, что надо тебе говорить?!.». Я вышла, занялась своим делом. Слышу — положил трубку. И тишина. У меня больно сжалось сердце. Я снова к нему. Он сидит на диване, глубоко откинувшись на спинку. Бледный. Говорит глухим голосом: «Нина, мне плохо». Обычно он называет меня Ниночка. А это… Значит, тяжело ему. Достаю и подаю ему таблетку. Он говорит каким-то неузнаваемым голосом: «Я уже принял». И: «Позови Наташу (соседка), пусть давление померит». Я пошла за Наташей, а сама дрожу вся: умрет, пока я хожу! Пришли мы с Наташей. Она померила ему давление и смотрит на меня растерянно. Как потом оказалось — оно было смертельно низким. Я по глазам поняла — беда! Она говорит: «Вызывайте “скорую”».

Я позвонила. Их почему-то долго не было. Наконец приехали. Доктор и с ним медсестра. Подошли к нему, а он… Видно, уже умер. Нас с Наташей попросили выйти. Слышу, его уложили на диван и вибратором стали запускать сердце. Но… Было уже поздно. Выходит, умер он сидя…

Жил по — бойцовски и умер как боец — на поле «брани». Даже перед смертью не прогнулся.

Газета «Казачьи вести» писала год спустя после его смерти: «…Слишком близко к сердцу принимал он все, что происходило в России и с Россией, и сердце не выдержало. Он умер — точнее, погиб, словно боец на поле брани самой страшной войны, какая только может быть: в столкновении, в смертельной схватке двух идеологий — православной, одухотворенной соборностью, человеколюбием и милосердием; и пошлой, прозападной, сатанинской, развращающей и хищнической, убивающей в человеке Человека».

Его терзали за «Красные дни» до последнего дыхания. В открытую и подспудно. И продолжают терзать посмертно. Словно черви могильные. Как-то выступила наша окололитературная газетенка «Литературный Краснодар». Гробокопателям неймется, они и в могиле его достали. Никак не могут простить ему «Красные дни». Мол, Троцкий (Бронштейн) не виновен в гибели Миронова. Мол, выдумал все Знаменский. Хотя ссылается на документы. Мол, проверяли в «Ленинке» по книге посещений: не был Знаменский в библиотеке им. Ленина. (Как будто в других местах не могут храниться документы). Он и не ссылается на документы «Ленинки». Он ссылается на живые документы, которые ему принесли мироновцы.

По этому поводу завязалась настоящая перепалка между автором этой гробокопательской цидульки и мной на страницах «Литературного Краснодара» и «Кубанских новостей». Причем первая публикация критика «Красных дней» прошла под псевдонимом, как и принято у этой трусливой публики. Но по тону и манере нетрудно было установить автора. И свой «ответ» я уже адресовал конкретно ему, чьи уши торчали в этой гнусности. В ответ последовал вообще провокационный вопль. Уже за подписью конкретного лица. Не буду называть его имени. Сей апологет идей Троцкого (Бронштейна) ни с того ни с сего задался вопросом: «…Может, Ротов встанет в защиту и Сталина?». На что я ему ответил: «Будете наглеть и дальше, можете породить второго, третьего, пятого, десятого Сталина. И так будет до тех пор, пока не угомонитесь со своими претензиями на всемирное господство». После этого «полемист» из «Литературного Краснодара» заткнулся.

2. Перевертыши за работой

А теперь несколько слов о том, что же так раздражает троцкистов в романе А. Знаменского «Красные дни»? Что может раздражать эту публику? Все то же: правда. Особенно, когда эта правда припирает их к стенке. Правда «Красных дней» достала их до печенок. Посыплю и я «соль на рану»: процитирую некоторые места из письма сына Ф. К. Миронова. Оно датировано 4 января 1984 года.

«Незадолго до своей смерти в Москве, — пишет сын Ф. К. Миронова, — Н. В. Суетенкова, вторая жена отца, писала мне: «…Я знаю, так как жила вместе с Вашим отцом, что между ним и Владимиром Ильичем (Лениным) велась переписка, и Филипп Кузьмич часто рассказывал мне о встречах с Лениным до и после саранских событий. Он восхищался Лениным. И теперь, когда прошли десятилетия, я вижу, что многие черты характера Ильича, которые он отмечал в нем, были присущи ему самому, как то: любовь к правде, гуманность, непримиримость к врагам народа, пренебрежение к личным благам и т. п. Ленин для Филиппа Кузьмича был высшим эталоном человеческой мудрости и морали.

Вы знаете, что 30 марта 1921 года Филипп Кузьмич написал из Бутырки большое письмо в адрес Калинина, Ленина, Каменева, Троцкого с просьбой вмешаться в его судьбу и выяснить причину его заключения в бутырскую крепость, поскольку он не признает за собой никакой вины перед партией и Советским государством; ускорить его освобождение.

Однако это письмо, как и другие, написанные раньше, в руки адресатов не попало и было перехвачено троцкистами в Москве. Точно так же не попала в руки Ленина и телеграмма Фрунзе, в которой он просил его разобраться в деле Миронова, имевшего на Южном фронте «исключительные заслуги в разгроме Врангеля». (Написано по оригиналу).

Я начал цитирование статьи А. Ф. Миронова, сына командарма, с письма Н. В. Суетенковой, второй жены Ф. К. Миронова. Сделал это преднамеренно. Потому что она упоминает о неких «саранских событиях».

Дело в том, что именно с Саранска начались беды Ф. К. Миронова, откуда он «самовольно» выступил с частями Донкорпуса на фронт. Я подчеркнул слово «фронт», потому что фронт — это не тыл, где устраивают себе передышку — отдых войска. Мало того, именно это его выступление выровняло и стабилизировало обстановку на фронте. И было продиктовано

необходимостью боевого маневра, а не стремлением «расслабиться на зимних квартирах». Вот за это он и попадает под так называемый Балашовский процесс (трибунал). Обвинителем на этом процессе выступал Ивар Смилга, единомышленник Троцкого (Бронштейна). Под диктовку Льва Давыдовича, которую тот слал шифрованными телеграммами.

Обвиняя Миронова во всех смертных грехах, Троцкий и иже с ним, в лице Миронова, по сути дела, обвиняли все казачество. Результат: смертный приговор ему и еще десяти его подчиненным из комсостава корпуса. За нарушение, якобы, воинской дисциплины. А на самом деле за то, что Ф. К. Миронов своим выступлением из Саранска предотвратил предательство «иудушки» Троцкого.

«7 октября 1919 года, — пишет А. Ф. Миронов, — был вынесен смертный приговор, и во дворе тюрьмы вырыта общая могила, поскольку приговор должен был быть приведен в исполнение в течение 24 часов. Спас Миронова и других его товарищей от расправы Троцкого В. И. Ленин, внимательно следивший за ходом

Балашовского процесса и не веривший в вину Миронова. Получив известие о приговоре, Ленин того же дня, 7 октября, созывает срочное собрание Политбюро ЦК РКП(б), которое выносит решение о помиловании Миронова и других осужденных товарищей.

Смилга тотчас «перестраивается»: уже восьмого октября он делает заявление о том, что ВЦИК помиловал Миронова и его товарищей по ходатайству… трибунала».

3. Титаны и пигмеи

Объективности и справедливости ради Ленин дает указание Дзержинскому и секретарю Совнаркома Сцепинской собрать все материалы о «Саранском мятеже» Миронова и Балашовского процесса над ним и товарищами; и сделать по этому вопросу подробный доклад на Политбюро ЦК РКП(б). Вопрос о Миронове обсуждался на трех заседаниях Политбюро 7, 23, 26 октября 1919 года. Докладчиком при участии Ленина выступал Дзержинский. О решении заседания Политбюро черным по белому записано в хронике о Ленине: «23 октября 1919 г. Ленин участвует в заседании Политбюро ЦК РКП(б)… При обсуждении пункта «4» повестки дня о бывшем командире Донского кавалерийского корпуса Ф. К. Миронове принимается решение об освобождении его и товарищей, осужденных по делу Миронова, от всякого наказания. Ленин голосует за предложение ввести его в члены Донисполкома Советов». (В. И. Ленин. Биографическая хроника. Т. 7. С. 594).

«На этом же заседании Политбюро, — пишет далее А. Ф. Миронов, — только что опальный комкорпуса был принят в кандидаты партии. Вчерашний «мятежник» и «враг партии» был удостоен высочайшей чести: за его прием в партию голосовали: Ленин, Дзержинский, Крестинский. Калинин воздержался, а отсутствующий Троцкий телеграфно выразил свое согласие о приеме. (Подлинное лицо лицемера).

Когда Врангель одержал ряд побед над 13–й красной армией и 2–й Конной, неугомонный Миронов пишет заявление, в котором

просит послать его против Врангеля. «С одобрения Ленина он был назначен командующим 2–й Конной армией, которой до этого командовал Городовиков. Миронов провел ряд реорганизаций в армии и, войдя в боевое соприкосновение с Врангелем на правом берегу Днепра, разгромил пять его отборных дивизий, захватив огромные военные трофеи». Вот поэтому Фрунзе сказал о Миронове, что тот оказал «неоценимую услугу в разгроме Врангеля».

Несмотря на провал балашовского судилища над Мироновым и его товарищами, Троцкий (Бронштейн) и его сподвижники Склянский и Белобородов продолжали плести интриги против выдающегося командарма. А когда Миронов выехал в Москву за новым назначением, его арестовали и посадили в Бутырскую тюрьму.

«Время шло, — пишет А. Ф. Миронов, — но Миронова все не было. Ленин делает официальный запрос Склянскому,

заместителю Троцкого: «Т. Склянский! Где теперь Миронов? Как дело обстоит теперь?». (Ленинский сборник, т. 20).

В конце своей статьи А. Ф. Миронов излагает четыре пункта, бесспорно доказывающих, что Ф. К. Миронов был убит без суда и следствия в Бутырской тюрьме по интриге Троцкого (Бронштейна) и К^0. Вот основные выдержки из этого заключения:

«Н. В. Суетенкова писала мне, что она и муж (Ф. К. Миронов. — В. Р.) были допрошены следователем всего два раза. Следствие только началось. И никакой вины Миронова просто не могло еще быть доказано. Допрос вел молодой следователь, явно стремившийся запутать следствие. Ни Ленин, ни Дзержинский не знали о том, что Миронов находится в Бутырской тюрьме. И допрос проводился в тюрьме, а не в ЧК. Тогда как такие дела рассматривал сам Дзержинский.

Следователь Главвоенпрокуратуры СССР, проводивший расследование факта гибели Миронова, обнаружил в архиве Бутырской тюрьмы лишь небольшой листок с описью белья, снятого с Миронова. Эта процедура выполняется перед отправкой обреченного на расстрел. Так что и версия о том, что он был убит охранником с караульной вышки, не выдерживает критики. А факт расстрела в тюрьме свидетельствует о преступном нарушении существующих тогда правил: расстрелы в тюрьме запрещались.

Следователь Главвоенпрокуратуры уже после посмертной реабилитации Ф. К. Миронова в беседе с соратниками командарма С. П. Стариковым (г. Москва) и Е. Е. Ефремовым (г. Ленинград) сказал им, что ни в тюремном деле Миронова, ни в ВЧК он не нашел никакого документа о приговоре к высшей мере наказания, ни о приведении его в исполнение. Даже не было обнаружено акта за подписью тюремного врача, свидетельствующего смерть заключенного.

«Все это вместе взятое убедительно говорит, — пишет в заключительных строках своей статьи А. Ф. Миронов, — о том, что Ф. К. Миронов был расстрелян в Бутырской тюрьме по распоряжению или Склянского, или Смилги, или самого «иудушки» Троцкого (Бронштейна). Кто бы это ни сделал, без одобрения Троцкого здесь не обошлось».

Из всей истории уничтожения выдающегося сына трудового казачества Дона, военного общественно — политического деятеля, верного сподвижника В. И. Ленина невольно напрашивается, как минимум, еще два вывода: уже тогда Ленин не доверял Троцкому (Бронштейну). Уже тогда у них были непростые отношения. И второй вывод: очевидно, у Ленина был весомый повод не доверять Троцкому, которого потом он метко

окрестит «иудушкой — Троцким».

Чтоб не быть голословными в этом смысле, приведу исторически достоверный факт продажности Троцкого. Он санкционировал (!) интервенцию Антанты в Мурманске в 1918 году. Событие получило официальное название «интервенция по приглашению». Он это сделал, несмотря на предупреждение В. И. Ленина, И. В. Сталина и Г. В. Чичерина. И — о, Санта Мария! — самого Я. М. Свердлова! За это «приглашение» поплатился почему-то председатель Мурманского Совета А. М. Юрьев. Он был объявлен врагом народа постановлением СНК от 01.07.1918 г. А с Троцкого как с гуся вода. Хотя его «приглашение» обернулось «большой войной против Советов с севера», — говорится в документе.

Тут и успехи Врангеля на правом берегу Днепра как-то сами собой подверстываются. И ненависть к Миронову, который остановил успешные действия Врангеля; и саранское «самовольное» выступление Миронова. Поистине гордиев узел! Который был разрублен ледорубом. Пигмей титанически упорствовал в своей ненависти к русскому народу. И получил ледорубом по темечку.

Но троцкизм жив. Троцкисты нынче у руля. Они продолжают дело своего кумира — рушат и продают Россию оптом и в розницу. И на службе у них пигмеи столичного и местного розлива.

4. Битва в пути

Я вскинул руки для объятья И оказался… на кресте.

Н. Зиновьев

Анатолий Дмитриевич Знаменский!

Человек, писатель, озабоченный судьбой России гражданин. И еще он называл себя шолоховедом (шолохоЕдом — в шутку). Кстати, он лауреат премии им. М. А. Шолохова. И стал он им в годы черной реакции шолохоненавистников, поднимающих и поныне время от времени грязную волну против великого русского писателя, обвиняя его в плагиате романа «Тихий Дон».

Анатолий Дмитриевич — один из немногих, кто поднял свой голос в защиту Шолохова. Кто помнит те времена, тот знает, что надо было обладать мужеством, чтобы пойти на это. Знакомые московские писатели рассказывают, какие баталии были на заседаниях комитета по шолоховским премиям, когда обсуждалась кандидатура А. Знаменского: он и антисемит, и бывший зэк, и бездарь, и даже враг народа. Один из членов комитета разошелся так, что лишился дара речи во время своего выступления (Бог шельму метит!). Перечисляя «грехи» Знаменского, он «задохнулся» от ненависти. Несколько секунд молчал, вытаращив глаза.

И что за люди — нелюди?! И их, таких, много развелось. От ненависти готовы на любые подлости. Видите ли, они считают, что

не может быть, чтоб Шолохов — молодой крестьянский сын создал такое произведение литературы, которое затмило все их выморочки про революцию и гражданскую войну в России.

Я не буду называть их по именам — это известные люди. И легко угадываются по характерным признакам. Один из них от имени всех этих шолохоненавистников на похоронах К. Симонова, у гроба покойного, над могилой поклялся мстить Шолохову до последнего своего дыхания, «стереть в порошок».

Потом неуклюже они отшучивались, мол, что поделаешь — родная кровь. Фанат! Мол, таким вот образом отдал пальму первенства своему брату. Но откуда такая ненависть? Почему этот человек, когда случается ему мелькнуть на телеэкране, при упоминании одного имени Шолохова бледнеет, словно гриб — поганка? А нестриженая борода его встает дыбом?

Видно, этому человеку неведомо, что творческое соперничество, и даже взаимная неприязнь, среди творческого люда — дело обычное. И подогревается оно жгучим желанием преуспеть более коллеги. Это естественно, это нормально. Но при

этом люди не должны терять человеческое лицо. Не впадать в безумство патологической ненависти.

Л. Н. Толстой, говорят, не любил Добролюбова. Называл его «очкастая змея». Не любил В. Шекспира, его творчество. В. Белинский не любил Н. А. Некрасова. Опять же — его творчество. Он считал его стихи нарочито народными. Но они никогда не опускались до того, чтобы мстить. И не насылали друг на друга проклятий. А время показало, что и тому, и другому, и третьему досталось места в литературе, в истории и в сердцах читателей и почитателей.

Соперничество в любой области творчества и деятельности людей — это двигатель творческого порыва. Ненависть же к преуспевающему — от черной зависти. А зависть, как и злость, — признак бессилия. Мало того, зависть сушит душу, зависть сжигает, зависть, наконец, унижает и уничтожает человека. Или им все дозволено? Нет, господа хорошие, хоть вы и богоизбранный народ, и Бог милостив,

но все это до поры до времени. Ибо им, Богом, назначен Судный День. Отнюдь не за добрые дела. Именно за талмудистские завихрения.

Неприятие талмудистами Знаменского началось давно. Как только четко проявилась его гражданская позиция. Местные талмудисты дали команду «фас», и началось. Особенно злобно и почти открыто выступили они, когда писатель пробивался со своим романом «Красные дни», впоследствии получившим всенародное признание и Государственную премию.

Расскажу об этом подробнее на правах одного из первых, кто узнал о том, что А. Д. Знаменский пишет новый роман. На правах одного из первых авторов, кто написал о трудном прохождении рукописи сквозь цензурные «рогатки». Моя статья под названием «Трудные дни “Красных дней”» была опубликована в газете «Кубанские новости» 22.02.1997 г., а затем я включил ее в книгу «Ближе к истине». Процитирую ее частично:

«Я пришел проведать его в больницу. Это было лет пятнадцать тому назад. Он чувствовал себя уже сносно, а потому мы вышли в прибольничный скверик, сели на лавочку, поговорили о том о сем. И вдруг он стал рассказывать, что пишет новый роман о гражданской войне, о командарме Миронове. Кто такой Миронов, я в то время понятия не имел. Ибо в СССР знали двух командармов — Ворошилова и Буденного. Но, оказывается, был еще третий — Миронов Филипп Кузьмич. Донской казак, лихой рубака, любимец донского казачества. Из простонародья поднялся до командарма. Причем назначен был на эту должность по рекомендации самого Ленина. Воевал за Советы. После был

рекомендован, опять же Лениным, на пост инспектора казачьих войск при ВЦИКе. Выехал в Москву за назначением, но к месту не прибыл. Как только появился в Москве — был арестован по интриге Троцкого и К° и злодейски убит во внутреннем дворике Бутырской тюрьмы во время одиночной прогулки» (Версия).

— …Фигура ярчайшая! — заметно волнуясь, рассказывал Анатолий Дмитриевич. — Похлеще Ворошилова и Буденного… Кстати, некоторые славцые дела его они приписали себе…

Как этот роман, так и присуждение премии им. М. А. Шолохова стали реальностью вопреки воле и интригам талмудистов. Чудо из чудес, какие может творить только Россия. Только русские.

В литературном отношении роман не блещет. Об этом говорил и сам Анатолий Дмитриевич.

— Это скороспелая публицистика. Я торопился поскорее положить информацию на бумагу. На меня давил огромный материал, оказавшийся в моих руках. Было бы преступлением пренебречь хотя бы одним фактом, одним документом. Надо было выплеснуть, запечатлеть все. А потом уже… Если доживу до второго издания, то почищу и стиль, и язык.

Не дожил. Скончался на подъеме творческих сил. Ему «помогли» в этом наши местные талмудисты. Один из них — никто Канашкин, называющий почему-то себя литературным критиком. Меня он полоскает в своих поганых, бездарных книжках с приставкой «некто» — некто Ротов; поэтому отдаю ему должное — «никто» Канашкин. Критик — самозванец, окололитературный прохвост, которого к литературе нельзя подпускать на пушечный выстрел. Таким был категорический вердикт писателей после первой же его критвыходки. Ибо как можно писать критику на то или иное произведение, того или иного автора, не читая произведения? А просматривая его по «диагонали», руководствуясь личными пристрастиями: угоден ему, неугоден человек. Именно на этом «диагональном чтении» поймали его писатели. И Знаменский в том числе. Он и сказал ему об этом в резкой форме, присущей писателю в таких случаях. Он терпеть не мог профанации, фальши и вообще непорядочности. Ведь это окололитературное чудо думало, и думает до сих пор, что никто ничего не поймет в его литкритической дрисне. Но его раскусили сразу. И дали полный отлуп от писательской организации. Но на нашу беду, народ у нас отходчивый: приняли в Союз писателей, и даже сделали редактором альманаха «Кубань». Говорят, к тому приложил руку и сам Знаменский. За что получил потом от него «фраера». Судился с ним.

Дальше — больше: во дни разгула дерьмократии сей прохиндей «выменял» как-то редакционные комнаты на двухкомнатную квартиру и присвоил ее. Об этом я писал в «Литературной России». А с него как с гуся вода. Блымает своими бесстыжими глазами. Тайком от писательской организации приватизировал альманах «Кубань»; увел в неизвестном направлении, по словам коллег, — в направлении загородной дачи, имущество редакции. Дело дошло до того, что в отчетном докладе П. Е. Придиуса сей окололитературный несун был недвусмысленно назван «вором в прдфессорской мантии». При всем честном народе.

А сам о себе на форуме интеллигенции города почти в упоении процитировал с трибуны муниципального органного зала постоянного своего оппонента В. Тихомирова, который публично, в своей статье, назвал его «сперматозоид Канашкин».

Сей фрукт не брезгует даже оскорблениями в свой адрес, лишь бы «прославиться». Неважно, какой окрас, лишь бы про нас!..

Сидящий рядом со мной человек возмущенно ерзнул в кресле: мол, истинно одноклеточное! «Ляпнуть такое с трибуны форума!». А я подумал: это что! Однажды на юбилейном широком застолье у нас в литстудии в подпитии он взял слово и вдруг стал рассусоливать о важности мошонки… Я ему крикнул с места: это тема для докторской?!. Он бешено сверкнул на меня глазами. У него ко мне явное неравнодушие. Настолько, что однажды в ярости он пообещал изрубить меня на куски и смыть в канализацию.

Ну что можно сказать еще об этом одноклеточном? Один из наших литаксакалов посоветовал ему (на полном серьезе) попроситься в психушку и там…

— Организовать отделение писательской организации, — приплясывая по своему обыкновению, возгорелось окололитературное чудо.

— Не только, — сказал ему старейшина, — и возглавить! Прихватить с собой пару — тройку таких же и стать во главе.

Мне кажется, этим и кончит никто В. Канашкин(д). Это приставленное мною «д» само напрашивается к нему. И вот почему.

В свое время он, возглавляя альманах «Кубань», выдал «нагора» целый блок антисемитских публикаций. Вплоть до Протоколов Сионских мудрецов. И прогремел на весь Союз (тогда был еще СССР). Особый интерес почему-то проявили к этим публикациям в Тель — Авиве. Слали ему просьбы — заявки, желающие иметь номера альманаха с этими публикациями.

Говорили, что он даже получает денежную подпитку из Израиля.

В чем дело? — недоумевали все мы. Оказывается, он сам из того же десятка. А по их талмуду разрешается все, что выгодно тебе. В. Канашкин, который по всем признакам В. Канашкин(д), сделал себе имя на антисемитской теме.

Некоторые местные талмудисты, не разобравшись толком, подступились к нему с претензией: мол, это почему, на каком-таком основании ты позоришь евреев? Присутствующие при этом коллеги говорят, он, не моргнув глазом, выпалил этим «оскорбленным»: «А я сам еврей! И вот Юра (Соловьев) — тоже. А по нашему Талмуду разрешается все, что тебе выгодно». И обиженные-оскорбленные, почесав в затылке, удалились.

Удивительное дело! Ископаемый цинизм! Декларируемый, кстати, в Катехизисе еврея в СССР.

Анатолий Дмитриевич делился: когда ему доводилось рассказывать об этой «отповеди» В. Канашкин(д)а «обиженным и оскорбленным» писателям в Москве, ему не верили: «Что ты? Канашкин — самый яростный, самый убежденный антисемит!».

Разве это не чудо? На бичевании единоверцев сделать себе имя, спекулируя на этом самым наглым образом. Я к чему?

Этот самый «сперматозоид», окололитературный прохиндей, размахивающий удостоверением члена Союза писателей, критик-самозванец, он же «вор в профессорской мантии», он же талмудист кубанского розлива, ничто(жество), сделавшее себе имя и карьеру на антисемитской теме и на том, что пел аллилуйя высоким литературным и руководящим авторитетам. Сначала возносил до небес писателя А. Знаменского, а потом вдруг «понес его по кочкам», как говорится. Сам, не написавший ни единой строчки прозы, поучает других, как надо писать. Это все равно, что если бы сапожник стал поучать конструкторов космических кораблей, как надо «кроить» летательные аппараты.

Вопрос. Откуда такая самоуверенность и зверская ненависть? Оказывается — то был заказ. Поступила команда «фас».

Анатолий Дмитриевич знал это. И возникла между ними вражда.

В. Канашкин(д), клеймивший ранее В. Лихоносова («Куда бежит Троха?»), очевидно, получил команду: В. Лихоносова оставить, переключиться на А. Знаменского.

Они схватились на одном писательском собрании. Это была битва титана и пигмея. Знаменский только — только от инфаркта отошел. После этой схватки ему становилось все хуже, хуже. А В. Канашкин(д) ходил с гордо поднятой головой.

В перерыве того собрания я подсел к Анатолию Дмитриевичу, стал успокаивать, уговаривать не волноваться. Мол, Канашкин

того не стоит. Он взглянул на меня сердито. А когда я снова стал его уговаривать, он взглянул холодно и отчужденно. И выдал вдруг:

— Ты что не понимаешь, что происходит? По заказу шельмует. Триумф обрезанного духа! Талмудист самого гнусного пошиба. А косит под русского патриота…

Откровенно говоря, я его не понял тогда. А позже, когда прочитал эту канашкинскую дрисню под названием «Триумф обрезанного духа», понял, что это он про себя — «обрезанный дух». Талмудистской закваски обрезок.

Он «доставал» Знаменского с упорством маньяка. Я не раз задавался вопросом: почему? Ведь совсем недавно он возносил его до небес. А «ларчик просто открывался»: ему, видно, заплатили за травлю Знаменского. Кто? И тут я вспомнил, что он не раз похвалялся, что ему идет денежная подпитка из Тель — Авива. А оттуда не платят за красивые глазки.

Когда не стало Анатолия Дмитриевича, в писательских кругах пошли упорные домыслы: его «убил» В. Канашкин. И эти слухи нарастают. Переиначив известное изречение, можно с уверенностью сказать: свежо предание… и верится почему-то. Ибо травля писателей с его стороны продолжается. Разделавшись со Знаменским, досадив изрядно экс — губернатору Н. И. Кондратенко, он принялся за Придиуса и Ротова. При малейшей возможности он хлещет помои на нас. И почему-то эти неугодные все те же, из русских, настроенных патриотически. Теперь понятно, чей заказ он выполнил относительно Знаменского и продолжает принимать и выполнять заказы относительно Придиуса. Выпуская из года в год давно почивший и сгнивший журнал «Кубань» на народные деньги, он обливает грязью не только отдельных писателей, а и всю писательскую организацию. Неустанно предрекая ее скорую кончину. При этом почему-то не трогает «соседей». Почему? Да потому что альтернативная писательская организация, исход которой произошел под знаком горбачевской перестройки, находится под негласным покровительством богоизбранных. Как и мэтр наш всероссийского масштаба В. Лихоносов, которого В. Канашкин(д) в свое время терзал словно стервятник. Потом, очевидно, его одернули. Кто? Да все те же. Которые могут вознести до небес и уронить в бездну, по выражению одного нашего коллеги.

Короче, этот окололитературный прохиндей, он же «вор в профессорской мантии», он же ничто(жество), он же «сперматозоид Канашкин(д)» — из тех же, из талмудистов, которые пляшут на трупах и шествуют победно по земному «шарику» по щиколотки в крови. Справляют затяжной Пурим.

Пока православный люд исповедует «не убий», они каждый день часами демонстрируют по телевидению кровавые фильмы. И, чувствуется, упиваются этой телекровью. С каким смаком показали недавно даже «Перл Харбор». И мы, похоже, прогнулись. Осталось только водрузить впереди нас, так называемых россиян, «барана — провокатора». Послушного президента.

Исламский мир, тот вздыбился в противоположность православному. Не хочет идти на заклание; устроил им в ответ всемирную интифаду. Недавно даже в Кении достали их: взорвали гостиницу, в которой они поселились. Одна из пострадавших сказала в микрофон журналисту: «Похоже, в мире уже не осталось места, где бы евреи чувствовали себя в безопасности». Поистине так! Ибо даже в небесах где-то, в космосе, их не жалуют. Может, даже сам Бог: стоило появиться израильтянину в составе экипажа Шатл-Колумбия и… Словом, не приемлет их даже космос. В чем дело? А в том, что где бы ни появился этот всемирный гражданин, там «неправда делается».

Однако они продолжают упорно задираться со всеми. Даже с соседями, с Палестиной, разодрались! По сути дела — со своими. Неужели не понимают, что весь мир поднимается против них? За ту же Палестину. За Ирак. Поставили на уши весь мир. Неужели они в этих событиях не слышат раскаты всемирной неприязни?! Неужели до них не доходит, что эта их бредовая идея всемирного господства сродни гитлеровской? Что она приведет их в никуда.

Довели до инсульта Шолохова. Потом Знаменского — очередную тысячную или миллионную свою жертву. Ну и что? На их место встанут новые тысячи, миллионы…

Один из приемов, при помощи которого они «уничтожают» неугодных — это замалчивание. Замалчивали Гоголя, Достоевского, Есенина; терзают до сих пор М. Шолохова; забыли (как бы забыли) В. Г. Короленко: во Всемирную литературу вошли Коротич, Копштейн, а Короленко опустили, не сочли нужным. В. Лихоносов наш и тот представлен рассказом, а В. Короленко — нет.

Явное деление на «свой» и «не свой». А мы-то думаем — гадаем, что творится с нашим мэтром? Долдонит на всех перекрестках — «на Кубани нет писателей». (Разумеется, кроме него, Лихоносова). Чей заказ вы выполняете, Виктор Иванович? Неужели вы думаете, что ваши коллеги не понимают, откуда ветры дуют? Я в свое время в очерке противопоставил вас (благородного) подлому В. Канашкину. Теперь вижу — похоже, вы одного поля ягоды.

Другим приемом, при помощи которого они «уничтожают» неугодных — моральные истязания. Это они, не Сталин, гноили в

лагерях Королева, Туполева; весь цвет русской науки; это они «пасли» в ГУЛАГе миллионы русских людей (да и единоверцев заодно), наживаясь на горе людей; это они порушили великую державу СССР, продали и продают естественные ресурсы страны; сделали Россию посмешищем перед всем миром. В мирное время морят голодом и холодом народ. И думают, что это сойдет им с рук. Не надейтесь, господа хорошие! Судный День грянет. Это не мы вам говорим. Это сказано в Священном Писании.

5. Под знаменем Знаменского

Мы познакомились с Анатолием Дмитриевичем, когда он жил еще в Хадыженске. По какому-то делу я зашел в писательскую организацию (я был тогда в числе так называемого литактива), и там, в приемной, впервые воочию увидел Знаменского. До этого я знал его по книгам «Неиссякаемый пласт», «Ухтинская прорва»… Мы поздоровались с ним за руку. Он сказал мне: «Сейчас у нас бюро. Квартирный вопрос. Ты подожди меня, поговорим».

После бюро он заспешил на автобус. «Потом поговорим».

Потом я больше слышал о нем, нежели общался с ним. Слышал, что к нему ездят или даже ходят пешком писатели и начинающие. Одни, чтобы пообщаться с умным человеком, другие — заручиться его поддержкой. Говорили, что он хорошо принимает гостей. Хлебосольно. Особенно любит об этом вспоминать Г. Пошагаев, ходивший к нему в Хадыженск пешком.

Потом я слышал, что он переехал на жительство в Краснодар. Постепенно в моих глазах А. Д. Знаменский становился (и на самом деле был) одним из ведущих писателей на Кубани. Я его уважал даже заочно. И как бы побаивался. Уж больно высоко он парил в моем представлении. И, тем не менее, судьба потихоньку подталкивала нас друг к другу. Особенно после публикации в альманахе, который он редактировал тогда, моей повести «Шестой в бригаде». Он отмечал ее, как большую мою творческую удачу и всячески расхваливал. В одной из статей своих в «Купине неопалимой» о литературной молодежи хорошо отозвался и обо мне. С этого момента я почувствовал его плечо. Хотя очередную мою повесть «На этой стороне» он довольно крепко «пощипал».

При встречах я чувствовал на себе его пристальный взгляд. У него взгляд острый, скользящий. Мне было в его присутствии немного боязно и неуютно. Я никогда не знал, как он ко мне относится в данный момент. Позже я понял, что эта манера его общаться с людьми — ничто иное как привычка держать людей, которых недостаточно знает, на определенном расстоянии.

Постепенно это «расстояние» между нами сокращалось. И однажды я почувствовал, что он полностью мне доверяет.

У меня уже накопилось достаточно журнальных публикаций, даже вышли отдельные книжки, меня пригласили ответсекретарем в альманах «Кубань». Словом, я вплотную приблизился к тому, чтобы дерзнуть подать заявление о приеме в члены СП. К этому времени я уже знал, что с виду монолитную писательскую организацию раздирают противоречия. Что в ней противоборствуют две группировки. Условно назовем их согласно

последним веяниям «демократическая» и «патриотическая». Лидером «демократической» был В. А. Монастырев, «патриотической» — П. К. Иншаков, за которым явно стоял А. Д. Знаменский. Прием в члены СП тогда был крайне затруднен. Группировки старались провести «своих» людей. Доходило до элементарных торгов: если вы проголосуете за такого-то, то мы проголосуем за такого-то. Я оказался как бы между двух огней. Хотя как-то поддерживали меня и те, и другие.

Волею судеб я попал под «крышу» самых влиятельных людей «демократической» и «патриотической» сторон нашей писательской организации.

С «патриотической» стороны мной интересовался П. К. Иншаков. Он меня и «просветил» о том, что в писательской организации противоборствуют две группировки. И даже посоветовал взять рекомендации для вступления в СП у той и другой стороны. Я так и сделал: с этой стороны рекомендацию дал мне П. К. Иншаков, с той — Ю. Н. Абдашев. Третьим рекомендателем я «взял» А. Д. Знаменского. И это была, как я потом понял, как бы «ошибка» с моей стороны. В понятии «демократов», видно, я тяготел к ним. И вдруг третью рекомендацию попросил у «патриотической» стороны. Меня и прокатили при приеме в 1982 году. И приняли аж в 1992–м! Десять лет спустя. Хотя я пытался «исправиться» — взял четвертую рекомендацию у В. А. Монастырева. Но это уже не помогло: меня четко определили в «патриоты». А я, кстати, и не возражаю. Когда апрелевцы «отлупились» от нас, я с ними не пошел, потому что с самого начала не принял горбачевские завихрения с этой перестройкой; а потом и так называемые реформы, которыми нас до сих пор душат.

Вскоре после приема меня в члены СП состоялось отчетно-выборное писательское собрание, и меня избрали членом бюро. Будучи членом бюро, я мог довольно часто наблюдать А. Знаменского, который тоже вошел в новый состав. Члены бюро В. Лихоносов, И. Варавва и А. Знаменский были почти непререкаемыми авторитетами, имевшими решительное влияние на принятие любого решения. Мы — «подголоски» — или соглашались с мнением «аксакалов», или молча голосовали «за».

Я стал замечать, что мнения А. Знаменского и В. Лихоносова резко расходятся. И. Варавва принимал то одну, то другую сторону. Обычно с подначкой или с шуткой, вызывая у членов бюро

улыбку или смех. Поэтому А. Знаменский как бы не принимал И. Варавву всерьез. А с В. Лихоносовым он пытался создать некий блок, пригласив кого-то третьего, и, таким

образом, взять приоритет в решениях в свои руки. Анатолий Дмитриевич рассказывал мне доверительно об этом. Но В. Лихоносов на блокировку не пошел.

Я часто, про себя, конечно, становился на сторону Лихоносова на бюро. Вообще, боготворили его. Да, писал о нем хорошие очерки. Даже пытался защитить его от В. Канашкин(д)а. И когда формировал книгу «Ближе к истине», поместил в нее очерк о нем. Несмотря на то, что он выкинул мою книгу «Суд чести», по сути дела вытащил из печатного станка в «Советском писателе» в 1992 г. Он кричал на меня на одном из бюро: «Лицемер! Хвалишь меня, а сам в начальники стремишься!..». Я сложил ладони рупором, чтоб пробиться сквозь его глухоту, крикнул тогда при Л. П. Пятигоре: «Клянусь детьми, никогда не стремился в начальники писательской организации и не стремлюсь». И это так. Я знаю свои возможности — начальник из меня никакой. А потому никогда в жизни не стремился сделать карьеру. Хотя было немало шансов в этом смысле.

Под конец жизни Анатолий Дмитриевич почему-то пришел к выводу, что профессия писателя изжила себя. Он об этом мне говорил горячо, когда мы сидели за столом во время фуршета в комнате для приемов в краевой библиотеке им. А. С. Пушкина. Перед заключительным заседанием выездного секретариата Союза писателей России.

— …Понимаешь, мы никому не нужны, — говорил он, удивляя меня немало. — Вернее — начальству мы не нужны. Нынче. А духовность народа продержится и на классике…

Я молчал, слегка шокированный. Он пристально всмотрелся мне в глаза и сказал разочарованно:

— Ты наивный. Ты не веришь тому, что я говорю. Чего молчишь?

— Не понимаю, почему вы так разочаровались в нас, в писателях?

— Потому что, повторяю, начальство в нас не нуждается,

народу достаточно классики. Угождать начальству мы не хотим, на высокое художественное изображение не способны.

Он допил свой чай, посмотрел в сторону, где расположилось московское литературное начальство. Хотел подойти к ним. Потом махнул рукой.

— Ладно. Я уйду, а вы тут перегрызете друг друга. Вас всех перекусает бешеный пес Канашкин. Его к нам и запустили для того, чтоб он всех перекусал, заразил бешеной слюной.

Знаменский и под занавес своей жизни остался Знаменским.

Сейчас я понимаю, что чуткая, многомерная душа его уже тогда чувствовала, что мы на пороге глобальной беды. Президент

Америки Буш, воровато бегая глазками, похваливает нашего президента, поглаживает по плечу, успокаивает: «Ничего страшного в том нет, что НАТО уже переступило границы бывшего СССР». Уловка удава, гипнотизирующего лягушку.

Над Россией и над миром сгущаются смертельные тучи. Ибо наши враги во всем мире нашли опору в наших продажных талмудистах.

А знаменские где?..

Валим Евдокимов
ПО ШОЛОХОВСКИМ МЕСТАМ СО ЗНАМЕНСКИМ

«Анатолий Дмитриевич прошел к самой могиле Шолохова и бережно положил букет бессмертников к большому надмогильному камню»

Встретили нас в Волгограде приветливо, по — дружески. Люди в тамошней Русской общине — не «утилитарные», отдающие большую часть жизни своему общественному призванию и делу, из тех, что не ищут наживы и выгоды, а самоутверждаются только работой и товариществом.

Анатолия Дмитриевича Знаменского тепло встретили и в Союзе писателей — как уважаемого старейшину, лауреата Государственной и шолоховской премий, надарили много книг местного издательства, почтили память недавно умершего Ивана Данилова, близкого ему человека. А потом увели в администрацию области для беседы о юбилейных мероприятиях в связи со 125-летием со дня рождения Ф. К. Миронова, народного героя Дона, о котором у А. Д. Знаменского написан роман «Красные дни». А потом надо было возвращаться домой, и вот тут

началось самое интересное.

С одной стороны, мне не хотелось возвращаться через Котельниково, ехать через эти бесконечные пустынные степи по грунтовой дороге, а с другой — где-то здесь рядом, километрах в двухстах, расположена родная станица Анатолия Дмитриевича. Можно было бы сделать ему подарок.

— А вы в своей Кумылженской давно были? — спросил я его. — Вас кто-нибудь там ждет?

— Сестра. Вчера вечером я звонил ей. Она там с мужем. Живут в Москве, а на лето приезжают в отцовский дом на отдых.

— А из Кумылженской до Вешенской далеко? На карте вроде близко, и дороги обозначены, — выпытывал я у Анатолия Дмитриевича.

— Ну, где-то километров 90, — отвечал он.

Все. Решение пришло мгновенно. От железнодорожного вокзала по виадуку и вверх по проспекту в сторону Москвы мы ехали недолго. Вскоре городские кварталы остались позади, и снова замелькали поля и перелески.

— А что обозначает, как переводится название вашей станицы?

— Кумылга? Ну, кум — это песок, и — какое-то русло. С хазарских времен. Старинная казачья станица, раньше она утопала в песках, а теперь там лес, посаженный в 40–е годы… — рассказывал Анатолий Дмитриевич.

Мы ехали по пустынной дороге, которой семнадцатилетнего мальчишку, арестованного в 1940 году, в машине везли до станции Себряково. Никакого асфальта тогда не было, была лишь проселочная дорога да голая степь. Взволнованный Анатолий Дмитриевич рассказывал:

— Эта великолепная лесостепная куртина — государственная лесополоса Камышин — Серафимович — была посажена после войны. Это по так называемому Великому Сталинскому плану преобразования природы. Вокруг Кумылженской огромный сосновый бор. Там лоси и олени водятся, а когда лето дождливое, можно собирать грибы. Здесь такие боровики, как где-нибудь под Вологдой. Совершенно изменился климат. Раньше это был засушливый район, а теперь даже в засуху дышать можно.

Крутясь по узким улочкам и переулкам станицы, мы, наконец, вывернули к большому казачьему дому, примыкающему огородом к небольшой речке. Раскрылись ворота, и мы въехали во двор.

Нас встретил пожилой, но еще бодрый и статный генерал. Одет он был в спортивную форму, но фуражку не сменил на шапочку. Моложавая не по годам Клавдия Дмитриевна обняла

брата. Выбежали две девочки — ее внучки Лиза и Даша. Лизонька — очень мягкая в чертах лица, а по характеру озорная девочка, ей пять лет, а Даша — второклассница: черные глаза, вытянувшаяся, уже подросток, строгая и немногословная, гордится, что второй дедушка был героем — летчиком, командиром крупного соединения ВВС. Вышел и сын отставного генерала, отец этих девочек, двухметровый, плотного телосложения казак. Он журналист ТАСС.

После обеда Алексей Александрович, так зовут генерала, предложил нам съездить на рыбалку. Генерал вывел из гаража свою «Ниву», мы помогли погрузить на багажник удочки и лодку и тронулись в путь.

Миновав станицу по ровному асфальту, машина легко бежала к мосту через Хопер. За рекой, на крутом скалистом утесе, на вздыбленном коне — бронзовый казак. По мнению Знаменского, местные власти воздвигли этот монумент в честь Григория Мелехова, в свое время наступавшего на эти места со стороны Вешенской.

— Казаки пришли к тебе, казак! — сказали мы Григорию и, возложив цветы к подножию памятника, поехали на заливные луга на рыбалку.

Дул ветер и сносил лодку, но, причалив к огромному острову цветущих кувшинок, генерал воткнул в дно озера два шеста по бокам лодки, и мы стали разматывать удочки. Я впервые в жизни видел так близко это чудо — белые — белые, словно восковые, цветы с капельками воды на лепестках.

…Утром, после завтрака, Алексей Александрович сказал нам, что он уже созвонился с главами администраций районов, и нас ждут на границе Волгоградской и Ростовской областей, чтобы помочь преодолеть бездорожье. Простившись с гостеприимными людьми, мы ранним утром тронулись в путь. Проехали по знакомому мосту через Хопер, помахали на прощание Григорию Мелехову. Мы ехали по родным местам Анатолия Дмитриевича, и лучшего гида, чем он, было бы трудно найти. Это в этих местах воевал герой гражданской войны Филипп Кузьмич Миронов. Здесь, на Хопре, совсем рядом и станица Слащевская, где прошло детство писателя.

Я любовался красотой этих мест, где решалась не раз судьба России. Здесь каждый буерак, каждая лощина политы казачьей кровью. Было больно, и думал я: какая сила подняла смелых, вольных русских людей и бросила их друг на друга? Многолюдные до революции казачьи станицы сейчас выглядят совершенно пустынными. Только бурьяны да чертополох, пустые глазницы полуразвалившихся казачьих хат, с полусгнившими

журавлями у колодцев…

Асфальт кончился у хутора Белогорского. Председатель колхоза «Большевик» встретил нас уважительно, предложил чаю. Чтобы мы не заблудились, снарядил нам в провожатые своего главного агронома на «Волге». На асфальт мы выбрались в центре хутора Поповка, в котором, возможно, родилась красавица Аксинья. В романе о ней сказано, что Аксинью взяли на хутор Татарский из Задонья, с песков, где особенно красивые казачки.

Уже на подъезде к Вешенской остановились у лесополосы, чтобы собрать хоть небольшой букет к могиле Шолохова. Но собрать букет было почти невозможно. Жалко было смотреть на полузасохшую поросль диких яблонь и груш, пыльные листья дубков. Сухо потрескивали под ногами сучья, и по — осеннему шуршала листва.

— Может, просто срезать несколько дубовых веток? — сказал Анатолий Дмитриевич, держа в руках два — три стебля сухого конского щавеля. Потом заметил в сторонке глубокий тракторный след, уходивший в глубь лесополосы, и пошел в том направлении.

Через несколько минут он вернулся и удивил меня большим букетом степных бессмертников, цветов, особо любимых в этих местах. Он радостно улыбался:

— Посмотри, какая прелесть! Трактор — колесник еще, вероятно, в осеннюю распутицу взрыл здесь две колеи, взрыхлил чернозем, и вот они выросли, родимые, прямо на колее! Сама природа

припасла нам этакое чудо именно в окрестностях этой славной станицы! Видишь: страшная засуха, жара, ни единой капли дождя за все лето, а они все же выжили тесной семейкой в пять — шесть кустиков! И в засуху, оказывается, бессмертники цветут!

Скоро мы въехали на окраину станицы и остановились у многолюдного рынка. Интересно все-таки, чем торгуют в этих местах?

Я направился к лоткам, но интересного было мало (товар все тот же, из Турции, только подороже, чем у нас…), и я поспешил назад, к машине. С удивлением увидел, что Анатолий Дмитриевич оживленно беседует с какой-то женщиной как с хорошо знакомым человеком.

Я поздоровался, а он обратился к женщине и представил меня ей: «Это мой спутник, краснодарец…». Она протянула руку и тоже представилась:

— Светлана Михайловна… Нам позвонили из Кумылги, и мы вас ждем. Правда, Михаил Михайлович рано утром уехал по

делам в Ростов, поэтому приму вас я.

Боже, передо мной была старшая дочь Шолохова! Она тоже с утра вышла на рынок, остановилась неподалеку у полки с книгами, и тут ее увидел Анатолий Дмитриевич. Он ведь хорошо знал ее в лицо.

Светлана Михайловна, как и ее отец, невысокого роста, стройная и живая.

Скоро мы были на мемориальной усадьбе. Под ногами зашуршала битая гранитная крошка, устилавшая дорожку к дому. Перед нами был двухэтажный послевоенной постройки дом.

— А кто строил этот дом? — поинтересовался я.

— Советская власть, но за счет Михаила Александровича. Если хотите подробнее, то все вам экскурсовод расскажет, — сказала Светлана Михайловна.

Вот она, могила Шолохова. На сером огромном гранитном камне выбито крупными буквами: «ШОЛОХОВ».

Анатолий Дмитриевич прошел к самой могиле и бережно положил букет бессмертников к большому надмогильному камню.

Мы поклонились могиле и тихонько пошли к дому. У крыльца остановились, и Знаменский сказал со скрытой самоиронией:

— Расскажу вам теперь одну грустную историю. Освободившись в сорок шестом, я через год приехал к маме. Она тогда жила в станице Слащевской. В кармане у меня уже была рукопись. И вот я отважился побывать у Шолохова! Надел на босу ногу сандалии и через хутор Шакин пошел пешком. Натер ноги до кровавых пузырей.

Пришел, а Шолохов на Вроцлавской конференции, в Польше, а ваша мама была занята с вашим братом, шаловливым Мишуткой. Это было в старом доме, а этот дом был из брусьев сложен, стропила стояли, только начиналась стройка. Огорченный, пошел к Зинаиде Петровне Кочетовой, нашей, ежовской. Мама моя тоже из Ежовки, вот и посоветовала мне остановиться у дочери односельчанина Петра Кочетова. Он был хороший хозяин. Тридцать пар быков было у него и земли много. Раскулачили его. Когда у нас в Ежовке организовали колхоз, то народ хотел, чтобы председателем колхоза был Кочетов. В Вешенскую к Шолохову я шел с влюбленностью, но неожиданно встретился с другим отношением к нему односельчан. В дом Зинаиды Петровны вошла соседка и, узнав, что я пришел к Шолохову, нехорошо выругалась. Я спросил, в чем дело, ведь он же три раза спасал Вешенскую! Храм не разорили, водопровод провели, мост через Дон поставили, асфальтом покрыты все

дороги, лес насадили!

Только в последние годы отношение изменилось. Любят сейчас вешенцы Шолохова.

Мы обошли дом, и у парадного подъезда Светлана Михайловна сказала:

— Проект этого дома — подмосковная дача для академиков. Этот дом отец не любил. Он любил старый дом, он был больше приспособлен для жизни семьи. Для дачи этот дом, может быть, и удобен, а жить в нем неуютно. Он как бы разделил отца со станицей.

Вошли в дом. Нас встретила симпатичная женщина — экскурсовод Надежда Тимофеевна. Надежда Тимофеевна начала

экскурсию с того, что рассказала нам о старом доме, который в войну был «прошит» бомбой, изрешечен осколками и восстановлению не подлежал. Секретариат Академии наук и ЦК ВКП(б) вынесли постановление, что Михаилу Александровичу положена в Подмосковье дача и гектар земли. Но дача под Москвой ему была не нужна, он всей душой был в Вешенской. С 1946 по 1949 годы строился этот дом.

Анатолий Дмитриевич увидел фотографию чекиста Ивана Семеновича Погорелова. Было дано ему задание Ростовским УНКВД: поехать к Шолохову, внедриться в семью и убить писателя. Это было в 1937 году. Иван Семенович приехал к Шолохову и все ему рассказал. Шолохов молча посадил чекиста в машину и повез не в Миллерово, где их уже ждали и могли перехватить, а довез до Себряково (в соседней области), и там они расстались. Шолохов поехал оттуда в Москву, а Погорелов — через Новочеркасск, так поодиночке они добирались до столицы. В Москве Шолохов написал письмо Сталину и передал его через Поскребышева.

На втором этаже дома — кабинет писателя, спальня, комната для гостей, в которой две ночи провел Хрущев с супругой, жили и другие именитые гости.

В кабинете часы остановлены в час сорок минут. Перед смертью Михаил Александрович попросил сигарету. Зажгли ее, но затянуться он уже не смог, умер в своей постели.

Мы подошли к библиотеке. Внимание наше привлекла полка с книгами воспоминаний военачальников. Самый потрепанный, зачитанный вид имел том воспоминаний Георгия Константиновича Жукова, а ведь читал его только один Шолохов!

Надежда Тимофеевна еще долго водила нас по дому писателя и рассказывала о нем, о героях его романов, о вещах, принадлежавших этому великому человеку.

Мы поблагодарили хозяек музея за экскурсию, за подарки и

собрались уже уходить, но Светлана Михайловна пригласила нас в маленькую комнату на первом этаже и усадила за стол — кофе, печенье…

Тихая, спокойная беседа продолжилась и здесь. Казалось, мы пришли в гости к родным людям. Мы рассказывали о дороге, по которой ехали, о выжженной степи, о безлюдье. А Светлана Михайловна сказала с горечью:

— Безлюдье — это для меня так дико. Пустует русская земля, которая могла бы приютить и накормить столько людей!

— Постарались, поработали, — с горечью говорил Анатолий Дмитриевич. — До революции каждый хутор давал взвод казаков худо — бедно. А были хутора и по триста дворов.

— Светлана Михайловна, — сказал я, — говорят, что раньше станица Вешенская утопала в песках. Михаил Александрович приложил огромные усилия, чтобы облагородить Вешенскую. Вижу — все здесь растет, несмотря на пески. В чем секрет?

— Вода! — сказала Светлана Михайловна. — Вода в Вешенскую пришла из огромного ключа, который называется Отрог. Когда геодезисты бурили здесь, то нашли, что станица стоит на куполе, под которым огромное море чистой родниковой воды. В 1936 году отец обратился к правительству, чтобы разрешили провести воду хотя бы по центральной улице. Сперва колонки были на каждом квартале, а теперь вода есть в каждом доме. Тогда было трудно трубы найти, но Орджоникидзе дал указание провести в станице воду, и это указание вскоре было выполнено.

На этом мы и простились.

Ольга Знаменская (дочь писателя)
КАК НА ДУХУ

«За работой папу можно было видеть по вечерам. Работал он, не замечая времени.

Иногда засиживался до глубокой ночи»

.....

И это было как причастье,
Как соучастье в той судьбе,
Что вся — на муки и на счастье!
Навек завещана тебе…

Ан. Знаменский

Родные люди… Семья. И сегодня она у нас большая: Знаменские, Мыльцевы, Артемьевы, Диваевы. Честные, работящие, добрые и верные люди. Судьбы у всех разные, а суть одна. Корень один.

Деда своего Дмитрия Максимовича Знаменского (1889–1958) я помню смутно. В феврале 1958 года, когда его не стало, мне не было и пяти лет. Сухощавый, выше среднего роста, молчаливый.

В молодости — если судить по семейной реликвии, фотографическому портрету 1913 года, — одухотворенно красивый. В нем были надежность и доброта. Нас, детей, любил трепетно и нежно, оберегал от нелепых случайностей, жалел. Вспоминаются его внимательные, чуткие глаза. Прогулки по заснеженной Ухте, городу моего полузабытого детства; непременные санки и катание с горок. Вечерние чаепития — обязательно с домашним варением! Очень любил сладости. И следил, чтобы печка, которую топили дровами, всегда была теплая: ладонь на стене, прилегающей к печи — его характерный жест. Дедушка Митя.

Бабушка, Анна Капитоновна (1896–1971), в последние годы жила в Москве, с семьей дочери Клавы. Каждое лето совершала своеобразные «туры» вместе с двумя московскими внуками, моими двоюродными братьями. Сначала отправлялась на Хопер, к родственникам — казакам, потом приезжала к нам в Хадыженск, где мы прожили двенадцать лет. А завершающим поездку местом был Сочи. Все дети вывозились бабушкой к морю. Строгая и мудрая, она была, пожалуй, идеальным воспитателем. Чтение русской классики и подвижные игры на воздухе, занятия языками и музыкой, шахматы и вязание, бесконечные путешествия по энциклопедиям и словарям — все это с ней. Особенно нам нравились походы в ближайший лес, за речку. Бабушка не отказывалась вместе с нами строить шалаш и забавляться игрой в мяч, купаться в мелководной Хадыжке и не забывала накормить нас бутербродами и фруктами. Угощать она любила. В ее массивном кожаном чемодане, по приезде из Москвы, оказывалось так много столичных вкусностей! Наши школьные каникулы — от первого до последнего класса — были озарены ее строгим взглядом и любовью. Бабушка Нюра.

Мамины родители — Сергей Васильевич (1908–1995) и Мария Семеновна (1909–1991) Артемьевы — родом из Башкирии, из небольшого села Иглино. Прожили вместе без малого 63 года. Поженившись в феврале 1929 года, они вскоре оказалась разлученными. Семья Артемьевых (прадед и его дети) была раскулачена и сослана. Крестьянская закалка, спокойный, уравновешенный характер помогли дедушке пережить тяжелейшие испытания лагерем Крайнего Севера. Уходил он на пенсию в середине шестидесятых годов заслуженным буровым мастером Коми АССР, одним из лучших специалистов по ликвидации аварий на нефтяных скважинах. Дедушка Сережа…

Бабушка была хозяйкой. Умела все. Вообще, и бабушка, и дедушка мои, за что бы ни брались, трудились на совесть. Иначе не поднять бы одной Марии Семеновне (дед то в лагере, то в

тайге на работе) трех детей, да еще в годы войны. Кристальная честность и основательность — вот что отличало мою бабушку Маню. Эти

качества и объединяли их с дедушкой, и в то же время отличали от многих. Дождались правнуков. И сегодня в далекой Коми растет один из них — Сергей Сергеевич Артемьев.

С другой правнучкой, Машей, моей племянницей, прошлой осенью побывали в Хадыженске. Ездили в гости к маминому брату Владимиру Сергеевичу и его гостеприимной жене Нине Яковлевне.

С Ниночкой Артемьевой (моей мамой) папа встретился в 1951 году. И уже не расставался никогда. Свою маму я называю декабристкой: она так же, как русские женщины XIX века, пошла за своим любимым на осознанные жертвы, понимая, что ее может ожидать жизнь с бывшим политическим заключенным, находящимся в пожизненной ссылке. Но обо всем этом мы с сестрой узнали гораздо позже…

А детство было вполне обычным, если не принимать во внимание исключительной особенности: и папа, и мама постоянно находились дома. Он на творческой работе, она домохозяйка. Это было нелегко: постоянный контроль и внимание. Но в том-то и дело, что этого как бы и не было. Просто все занимались своими делами. Две школы (обычная и музыкальная); небольшой садик с клумбами (их обычно обихаживала сестра); немецкая овчарка Дозор во дворе, которого привезли из Сочи; подружки из соседнего дома и почти постоянно приходящие и приезжающие гости в доме (их было очень много) — вот наша жизнь. Всегда и во всем была опора и защита. А если не решалась задачка, то можно было быть уверенным — папа обязательно поможет ее решить. Аналитический склад ума ему был присущ, да и математические способности тоже.

Воспитывали нас строго. Мама больше своим многозначительным молчанием. Папа тоже обходился немногословными замечаниями, которым мы следовали неукоснительно.

С раннего детства нам внушили: вы такие же, как все, и не чувствуйте себя особенными, потому что у вас папа писатель. К слову, один из романов так и называется «Как все» (во втором издании «Год первого спутника»).

В более зрелом возрасте я не раз слышала в разговорах, как папа подчеркивал ту же мысль: каждый человек должен сам, своими силами и делами пробивать себе дорогу в жизни. И отвечать за содеянное.

Помнится, когда зашла речь об изменении фамилии (в связи

с новым семейным положением), папа высказался категорически в том смысле, что лучше мне принять фамилию мужа. Мне это не очень нравилось. И после его смерти, впервые в жизни, я позволила себе ослушаться его — приняла его фамилию.

Где бы ни жили, одна комната — чаще самая маленькая — отводилась под папин кабинет. Там была библиотека, стоял небольшой письменный стол, радиоприемник и царил обязательный порядок.

За работой папу можно было видеть по вечерам. Работал он не замечая времени. Иногда засиживался до глубокой ночи. У прикроватной тумбочки в спальне всегда лежала записная книжка и шариковая ручка. Наготове. И нас это не удивляло.

В молодости — писал от руки, потом перепечатывал на машинке. Сам. Иногда это делала мама. А иногда мне доверялось (по моей инициативе) перепечатать. Так, с радостью и гордостью в 12–летнем возрасте я перепечатала повесть «Кубанка с красным верхом». Ксерокопии тогда не делались, поэтому печатали на машинке много. Часто прибегали к расклейке (2 экземпляра книги превращались в одну рукопись).

Впоследствии папа больше работал на машинке, потом, если считал нужным, правил и перепечатывал.

Отвлекать папу от работы было нельзя. Но иногда бывали исключения: приход друзей или родственников, интересная корреспонденция, или… у нас (у детей) трудная задачка по математике, которая никак не решается. В этих случаях папа охотно отвлекался от работы, заинтересованно общался с нами. И любая задача, конечно же, решалась. И еще был один повод, когда можно было отвлечь папу от работы — принести в кабинет стакан крепкого чая; лучше с лимоном в его любимом подстаканнике.

Когда папы не было за письменным столом, можно было принести и поставить небольшую вазу с цветами. Цветы всегда у нас были свои — из палисадника, что под окном, или с дачи, когда переехали в Краснодар. Обычно простые, которые он любил — астры, ромашки, незабудки. И, конечно же, сирень!

Эти маленькие знаки внимания с нашей стороны делались обычно с маминой подсказки. Она своим вниманием, спокойствием, мягкостью и добротой как будто укрывала нас от житейских бурь и невзгод.

Совсем недавно ее не стало и сразу обнаружилось, как много она успела и, главное, смогла!

Весну 2003 года, папин юбилей, мы встречаем вместе с Машей, дочерью моей младшей сестры Елены.

После окончания музыкального училища им. Н. А. Римского-Корсакова Леночка работала в музыкальной школе г.

Апшеронска, вышла замуж и вскоре уехала в Хакасию, на самый юг Сибири, к истокам Енисея. Мой зять — Владимир Александрович Диваев — сибиряк, навечно сжившийся с тайгой. В следующем году моя сестра с мужем отметят серебряную свадьбу. А Маша — студентка Кубанского университета. Будущий юрист. Не сторонний человек в вопросах литературы и искусства. Читать любит с раннего детства. В пятилетием возрасте прочитала роман Алексея Толстого «Петр Первый». А сегодня готовит к защите дипломную работу.

Есть у нас родственники и в Башкирии, и в Коми, и на Волге (семья одного из маминых братьев), и в Сибири.

В Москве — наши ближайшие родственники — папина сестра Клавдия Дмитриевна и ее муж Алексей Александрович Мыльцевы. Тетя всю жизнь проработала врачом. Дядя — военный. У них выросли два сына. Один из Моих братьев, Владимир, пошел по стопам отца — генерала; другой, Павел, закончив МГУ, долгое время был корреспондентом ИТАР — ТАСС в странах Африки; кандидат наук. На двоих у них четверо детей.

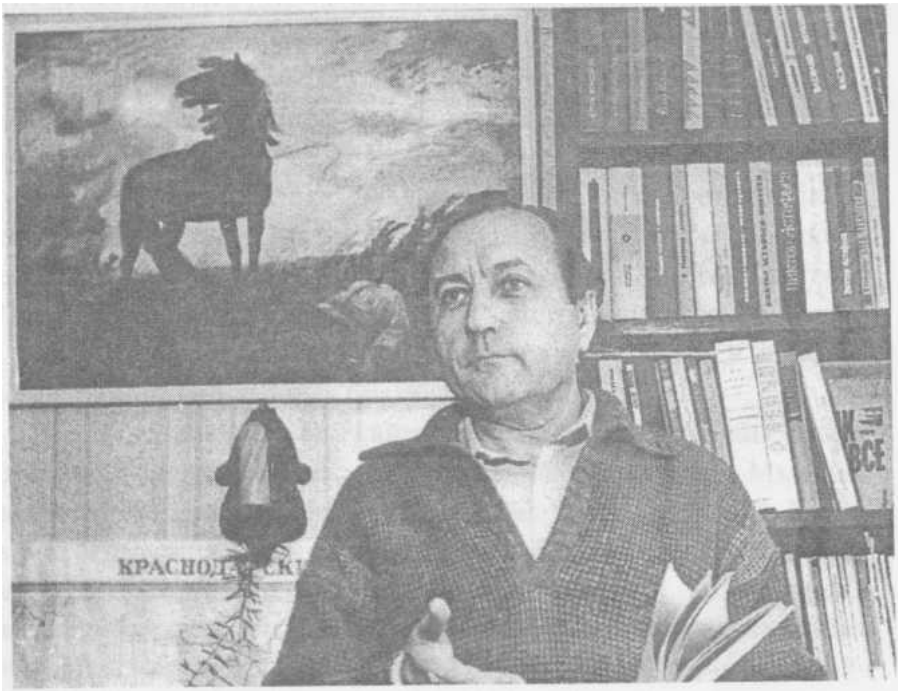
А я работаю в школе, в краснодарской гимназии № 18.

Преподаю русский язык и литературу. Общение с детьми — лучшее, что есть на свете. Но с утратой мамы моя жизнь все больше стала наполняться папиными делами: перепиской, архивами, публикациями. А главное — общением с кругом людей, удивительно интересных и разных. Среди них много близких, родных по духу. Не могу не выразить им сердечную благодарность за помощь и поддержку.

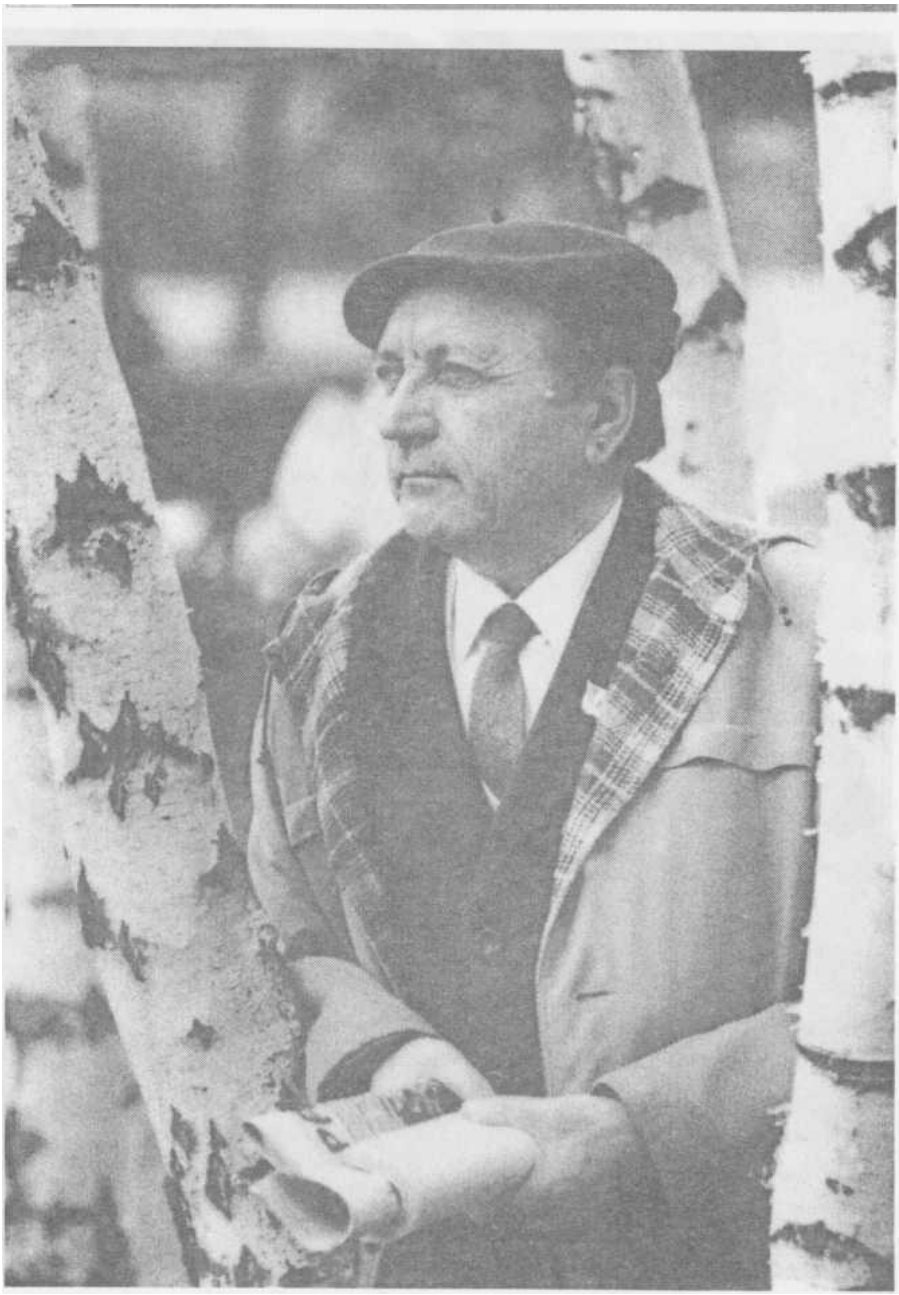
Родные люди… Их много. Родители, семья, друзья, мои ученики. А все вместе — родина. Малая и Большая. Любимая. Та, которая у каждого только одна.

А. Знаменский за работой

Вышел первый том романа «Красные дни»



Редкие минуты отдыха на природе



Взгляд в будущее. 1988 г.

Нина Сергеевна Знаменская с внучкой Машей

Антон Казьмин
БЕССМЕРТНИК КАЗАЧЬИХ СТЕПЕЙ (Воспоминания земляка)

«По мнению читателей, Знаменский относится к числу классиков советской литературы»

Двадцать пять лет назад, разбирая архив рябовского казака Привалова Н. И., я нашел письма Анатолия Дмитриевича Знаменского и узнал о существовании неизвестного мне писателя — земляка. Я бережно собрал письма, сложил по датам — все они относились к 1977 году. Передо мной раскрылась картина только что состоявшейся встречи двух видных хоперских казаков. Одного из них я знал с раннего детства — это был мой родной дядя. Другим оказался тоже хоперский казак с хутора Ежовского, тогда уже занимавший достойное место в ряду известных писателей страны.

Судя по письмам, встреча была посвящена теме завершения писателем исторического романа о гражданской войне в наших родных верхнедонских местах. На это писатель затратил много времени и сил, пересмотрев сотни документов, отыскав оставшихся в живых многих свидетелей далеких событий, в том числе и многих хоперских казаков и сына главного героя романа, командира 2–й Конной армии усть — медведицкого казака Миронова Филиппа Кузьмича. Это было во времена замалчивания и неприятия официальной наукой и литературой истинной правды расказачивания, а также во времена замалчивания самого писателя, по происхождению казака, побывавшего под молотом расказачивания.

Мне, по наивности, показалось, что я чем-то могу помочь писателю, надеясь на архив Привалова. И поэтому в начале 1978 года предложил свою скромную помощь. Писатель согласился — установилась постоянная связь.

Чем-то, в мелочах, старался помочь ему, посылал книги, фото, выводил на интересных ему казаков, читал по его просьбе рукописи

отдельных глав романа и давал читательские отзывы, защищал от злостных недоброжелателей и завистников.

Не сразу, с годами, собрал книги Знаменского и познакомился с его биографией. А она у него была трудная.

В первом, ответном письме Знаменский попросил найти книгу «Боевой путь блиновцев». Эта редкая книга издавалась один раз малым тиражом (1000 экз.) в Ростовском издательстве и была подарена моему соседу по Ставрополю полковнику Шачневу Филиппу Евграфовичу, казаку Филоновской станицы, блиновцу от начала формирования прославленной дивизии до конца Отечественной войны 1941–1945 гг. Шачнев был соавтором книги «Ставропольская имени Блинова». Он, как и Привалов, связал свою судьбу со Ставрополем.

«Я, — писал мне Знаменский, — после Вашего письма послал Шачневу «ультиматум» в виде собственной книжки стихов и просьбу прислать мне на время «Боевой путь блиновцев», но он что-то молчит. Очень жаль, что книга пролежит мертвым капиталом. Вы скажите ему об этом. Другие материалы, о которых Вы сообщаете, мне не пригодятся. Все же я пишу не историческое исследование, а художественное произведение, потому многие подробности приходится миновать. Да и роман почти готов — важно было бы сверить с книгой, что у Шачнева».

Книгу Шачнев отослал.

Из первого письма было видно, что Знаменский в центре патриотического движения донских казаков за реабилитацию Миронова, Думенко, всего казачества. Незадолго до этого я был свидетелем и даже участником (впрочем как-то боком) «суда над Буденным», как его называли сами казаки. На самом деле казаки возмущались выступлением С. М. Буденного в печати против Ф. К. Миронова. Такой большой человек, маршал и стратег конных баталий, попался на удочку недобитых троцкистов! Наш земляк казак Аржановской станицы В. И. Волгин (тогда жил в Ростове) собрал материал и подал в суд на журнал «Дон», где печатались книги Буденного. Чтобы придать материалу вес и получить официальное разрешение властей, материал послали в ЦК КПСС.

Знаменский шлифовал письмо к Суслову. Копию этого материала Волгин послал в Кисловодск Н. И. Привалову; последний — мне в Ставрополь с тем, чтобы распространить его среди единомышленников — казаков. Материал этот был архивный, то есть секретный по тому времени. Тот же полковник Шачнев, ознакомившись с делом, предупредил: никому не показывать, за это можно и поплатиться. Не зная, что Знаменский уже знаком с этим делом, я поспешно отослал его писателю. «Спасибо, пригодится», — ответил писатель.

А когда Знаменский сообщил о трудностях с изданием книги «Красные дни», я предложил ему выйти на моего бывшего одноклассника по усть — бузулукской школе профессора

политэкономии Колесова Николая Дмитриевича, тоже сына хоперского казака, имевшего связи в высших кругах власти. В начале 1982 года Знаменский пишет, что Колесов молчит, и не есть ли это результат материалов Волгина — писатель отослал их в Ленинград Колесову. Писатель просил меня содействовать в восстановлении связи и сообщить Колесову, что писатель — секретарь правления Союза писателей РСФСР и кандидат в члены Краснодарского крайкома партии. «Это Ваша стратегическая задача», — уточнял он просьбу.

Мне известно, что встреча этих хоперцев состоялась.

А что было крамольного в материалах Волгина? Главное — письмо Ф. К. Миронова к гражданину Владимиру Ильичу Ульянову о проводимой на Дону политике расказачивания. Теперь это историческая правда стала известной всем.

В самом начале переписки Знаменский прислал мне отрывок из романа «Красные дни» о первом бое Миронова под Сикачами на р. Медведице. Мобилизовав все свои литературные способности (я-то инженер), детально проанализировав отрывок, написал отзыв. Знаменский поблагодарил, найдя в замечаниях, к моему удивлению, что-то и существенное.

В дальнейшей переписке Знаменский присылал мне такие же отрывки, журнальные публикации и книги. В свою очередь я старался отблагодарить его, подбирая нужные ему книги.

Когда я также проанализировал другой отрывок о боях мироновской конницы с врангелевской за Днепром, он сердито выговорил мне и дописал, что пришло время «простого познания и смысла событий. Написаны тысячи книг, — пояснял далее писатель, — о том, как «Иван полюбил Матрену» и как все принялись стрелять «с переляку» в гражданской междоусобице, и только один Шолохов показал смысл: как честного человека и крестьянина (который кормил дармоедов) легко перекрасить в «колеблющегося», и даже в бандита. В этом трагедия эпохи, в этом трагедия Миронова».

Вскоре мне удалось прочитать два романа: «Ухтинская прорва» и «Иван — чай», и я понял, какой он большой писатель. Я сразу же и повинился перед ним за неумелые ответы. И впредь делал это с большими ответственностью и осторожностью, сознавая себя простым читателем.

Я постоянно учился у писателя пониманию подлинной литературы, особенно, когда прочитал все его произведения, в том числе из сборника «Убежденность».

Его «Купина неопалимая», «Магия прозы» и другие статьи великолепны и читаются взахлеб. Те, кто еще пытается сомневаться в его таланте, советую прочесть эти золотые

страницы Знаменского. Он писал их после своих исследований архивов и других материалов, собранных в ходе подготовки и написания своего главного романа. По мнению читателей, Знаменский относится к числу классиков советской литературы. Но такую же оценку его произведений дали и дадут еще его друзья — писатели и литературоведы.

Впервые роман «Красные дни» вышел в 1987 году (первый том). Писатель сразу же прислал его мне. Я читал его, как говорят, не отрываясь, — такова была необычная правда, поразившая меня, хотя я знал уже многое. И какой высокой оценки заслуживал автор романа за проявленное мужество в преодолении всяких препятствий на пути к изданию, и что я вгорячах в первом отзыве предложил наградить его орденом боевого Красного Знамени, — да редакция журнала «Роман — газеты» за 1989 год (№ 18) заменила слова тремя точками.

Я ведь был в курсе многих трудных походов его. Ему, конечно, помогали, но основную часть пути к изданию романа он преодолел своими талантливыми произведениями, своим умением — художественным словом! — довести правду до высшего руководства страны. Те же «Купина неопалимая», «Магия прозы», «Томов премногих тяжелей…», рассказ «Панорама» и многое другое сообщали общественности все новые и новые эпизоды далекой правды. И каждый раз писатель просил единомышленников — казаков писать отзывы на них, закрепляя тему, как писал Знаменский, поддерживая его в борьбе за гласность. А было небезопасно писать правду! Знаменский, закаленный в молодости, казалось, ничего и никого не боялся. К тому же авторитет его как активного строителя социализма, как писателя был высоким. И форму романа он выбрал своеобразную: роман можно относить как к художественным, так и к документальным произведениям.

А кубанцы — казаки — какие молодцы! — сказал бы Привалов — все-таки присвоили ему одно из высоких званий войскового старшины, по званию его главного героя романа, как бы отдавая дань уважения Ф. К. Миронову и всему красному казачеству, пострадавшему и от белых, и от красных.

После издания романа Знаменского появилась статья Роя Медведева о трагических событиях гражданской войны на Дону, в которой автор наводил туман на те события и высказывался оскорбительно в адрес Шолохова. Я сразу же написал в редакцию газеты (это было «Книжное обозрение») и выразил свое возмущение, упомянув при этом уже вышедшую из печати книгу Знаменского с правдивым и ярким изложением исторических событий 1918–1920 годов. Редакция переслала мое письмо Р.

Медведеву, а последний прислал мне оправдательное письмо и просил прислать книгу Знаменского. Не зная такого писателя, я переслал письмо Знаменскому, который ответил немедленно: Р. Медведев — троцкист и враг.

Не знал я тогда, что Р. Медведев пишет книгу о Миронове, силится опорочить Шолохова. Оказалось, Медведев получил от донского казака С. П. Старикова значительный материал о Ми

ронове и вот после смерти соавтора собирается издать книгу. Как писал мне Знаменский, излагает «дело так, что Троцкий был молодец, а Миронова убила сама система во главе с Лениным».

Резкое и большое письмо я написал в редакцию «Книжного обозрения», когда в газете появилась подвальная статья — рецензия на книгу с нападками на автора романа «Красные дни». Как же не хотелось новым «демократам» допускать правду расказачивания в восхваляемое ими время гласности! Да и самого Знаменского не хотели видеть в числе лучших писателей страны и всячески старались сохранить в истории чистенькими Троцкого, Свердлова и их сторонников.

Узнав однажды о писателе Знаменском, я не только стал собирать и читать его произведения, но и решил поделиться этой новостью с земляками, в первую очередь, с учителями и школьниками родной рябовской школы.

Данные воспоминания пишутся в расчете на хоперских земляков, и потому уместно сообщить кубанцам, что х. Ежовский и х. Рябовский — в степях между Доном и Хопром. Первородина Знаменского х. Ежовский на расстоянии 40 км от станицы Слащевской, при Советской власти вошел в состав Рябовского сельского совета. Между ними на 12 км были три узких полосы казачьих земель Слащевской, Федосеевской и Зотовской станиц. Сейчас в Ежовском восьмилетняя школа, в Рябовском — средняя школа с небольшим числом учеников.

В 80–е годы учителем истории рябовской школы был В. А. Кузнецов, по местным меркам краевед. Вот он-то и ответил мне, и у нас установилось взаимное понимание — вернуть писателя Знаменского в родные края, точнее, оповестить об одном из хороших писателей России. Особенно разрослась эта переписка, когда в нее включился редактор районной газеты Г. П. Сукочев, родом из-под Слащевской. Ко дню празднования 70- и 75–летия писателя в газете появились рассказы и статьи Знаменского и о нем. И даже повесть «Завещанная река» и стихи. Я в Ставрополе стал передатчиком информации. В одно время и сам Знаменский откликнулся. «Послал, что мог».

Мы регулярно переписывались, но почти не встречались.

Письма у нас были интересными и часто волнующими, к тому

же с частыми бандеролями в обе стороны. Мы подружились, а я про себя считал его своим старшим братом. Специальных встреч мы не назначали, а судьба не дала нам желанной возможности. Оба были заняты каждый своим делом. Знаменский летом 1987 года приезжал в Ставрополь с группой российских писателей на юбилей Ставропольской писательской организации. Встречались во Дворце культуры профсоюзов. Я сидел в зале, Знаменский с писателями — на сцене. Выступали Ю. Бондарев, М. Алексеев, поэт А. Дементьев и другие. После собрания Знаменский с группой писателей ушел в гостиницу, которая была рядом, и я не мог его догнать. Узнав, что он был болен, я решил не подниматься к нему в номер, а позвонил позже из дома. На следующий день рано утром я провожал его в Изобильный, откуда он сразу уехал домой в Краснодар. Через несколько лет мне предстояла командировка по узлам связи Кубани через Краснодар и Хадыженск, проверял прохождение преддипломной практики студентов. В Краснодаре Знаменского не было. Уехал в Подмосковье в Переделкино, в дом отдыха писателей. Там сломал ногу, лежал в больнице. Дома-то у Знаменских я побывал. Не повезло Анатолию Дмитриевичу, пережил сначала инфаркт, затем перелом ноги. А я спешил по маршруту Ейск — Краснодар — Новороссийск — Т уапсе — Хадыженск — Белореченск — Армавир.

Везде я как бы встречался со Знаменским: в магазинах, в газетных киосках, разговорах. В Хадыженске жил мой двоюродный брат В. Щепетков, по рождению рябовский, по отцу ежовский, знавший Знаменского. Он показал мне дом, в котором жил писатель, водил меня по безымянным высотам. А искал я там могилу погибшего брата Николая, 1923 г. р., мечтавшего стать писателем — война помешала. В 1942 г. оборонял Тамань, затем у Хадыженска безымянную высоту 350,3 напротив Батарейной, о которой писал Знаменский.

Выступая на уроке мужества в куренской средней школе, я начал со Знаменского и подвига хоперских казаков.

Я перечитал много книг об обороне Кавказа, все произведе

ния Знаменского о той местности, написал сжатый очерк и отослал его в Краснодар. И все надеялся, что встречусь с писателем и узнаю, какого же Тихонова взял он за образ главного героя «Безымянных высот». Я-то в своих поисках встретил двоих Тихоновых: командира дивизии и командира стрелкового батальона полка, в составе которого воевал брат.

В 1996 году я попросил Анатолия Дмитриевича поделиться впечатлениями о встрече с Н. И. Приваловым и тут же спохватился: что я сделал? Ведь у меня были все его письма,

книги, литературные статьи, в которых он показывал, как надо писать книги! Все же Знаменский подправил меня, дал свою характеристику этому комиссару войска Донского.

Последние его письма были весьма интересными. Я был свидетелем встречи Знаменского с писателем идущей за ним смены. Я отослал ему книгу В. П. Бутенко «Казачий алтарь» и очень скоро получил ответ с хорошим отзывом о книге. Письмо было мне, а относилось явно к Владимиру Павловичу. Знаю, что этих два сына Дона встречались на 90–летии Шолохова в Вешенской. Знаю, что реабилитация казачества продолжается.

Знаменский познакомил меня с такими видными писателями, как Ф. Абрамов, В. Белов, В. Астафьев, В. Чивилихин, поэтом С. Викуловым и другими. Знаменский описывает ветерана Великой Отечественной войны в стихотворении «Почему ветерана зовут ветераном?», в котором сказано и обо мне.

В самом начале 1997 года Анатолий Дмитриевич прислал мне последнюю свою книгу «У распятия» и письмо от 30.12.96 г.

«Получил Ваше письмо, очень хорошее и подробное, а потом и книжечку В. Белова — спасибо. По нашему безвременью это большая радость. Все же мы не одиноки на этом свете». «В этом году, — писал он, — вышла тут и у меня книга по той причине, что некоторые мои вещи включены теперь в региональные программы школ, и надо как-то было представить писателя N ученикам и их родителям».

Несколько экземпляров этой книги, так подходящей для школ нашего хоперского края, я потом нашел и отослал в родной

Алексеевский район, а заодно и биографический альбом — стенд к 75–летию со дня рождения Знаменского.

У этого альбома — стенда уже была большая история. В самом начале нашей переписки Знаменский прислал мне книжку своих стихов. Я не сразу осознал, что многие стихи автобиографичны. Точнее, не сразу сообразил, что биографию писателя можно добавить и украсить его стихами. Нужен был толчок, и он случился к 60–летию писателя, когда я со своими студентами стал готовить первый стенд, а материалов было мало. Надо сказать, что вопросов на личные темы я никогда не задавал, боясь оторвать его от большой работы, старался узнать о нем из книг и печати. Да тогда и нельзя было писать о его работе на Севере. Так появился биографический стенд со скупыми словами биографии и содержательными стихами самого Знаменского. Оказалось, что и студентам такой стенд больше нравится. С появлением компьютерной техники стенд стал еще лучше, а в виде альбома его можно хранить в библиотеке.

А читатели ждут подробной биографии или книги о его

произведениях.

Одной из последних публикаций о Знаменском был очерк В. В. Евдокимова об их совместной поездке в 1996 году на родину писателя с посещением Волгограда, Кумылженской, Слащевской и Вешенской под броским заголовком «И в засуху бессмертники цветут». Это был не только последний поклон писателя своей малой родине, на которой он увидел свет, но и суровое напутствие писателя в трудный и благородный путь. Это было и низким поклоном дорогим великим бессмертникам, корни которых в глубинах истории мужественного народа — донского казачества.

И теперь, в нашу надолго затянувшуюся засуху, и всегда потом, среди милых степных цветов, мы будем видеть Знаменского Анатолия Дмитриевича, талантливого русского, казачьего по рождению, родного и во всем нашенского писателя.

ПИСАТЕЛИ О ТВОРЧЕСТВЕ А. ЗНАМЕНСКОГО

Дорогой Анатолий Дмитриевич!

Без особой нужды, а по велению сердца пишу тебе это письмо, чтобы сказать тебе, что ты писатель. Да, Толя, ты настоящий писатель, и я горжусь тем, что сидел с тобой за одной партой на Высших литературных курсах. Молодец!

Твой рассказ «Песнь песней» — прелесть! Мне даже захотелось быть дедом Яшкой, только я не люблю, когда меня бьют. Обнимаю тебя.

Г. ЛАДОНЩИКОВ.

(Поэт)

Москва. 20.11.1961 г.

Уважаемый Анатолий Дмитриевич!

Недавно прочел в журналах Ваши рассказы «Прометей № 319» и «Песнь песней». В журнальной прозе истекшего года рассказы эти заметно выделяются.

Очень просил бы Вас прислать новые рассказы в «Огонек». Буду рад получить от Вас скорый ответ.

С приветом

А. СТУПНИКЕР.

(Зав. отделом литературы журнала «Огонек»)

10.03.1961 г.

Многоуважаемый Анатолий Знаменский!

Пишу к Вам из Польши, Варшавы. Я переводчица. Читала Ваш рассказ «Песнь песней» — и я в восторге. Он хорошо написан. Знаменито. Буду его переводить для издательства для сборника разных рассказов русских писателей.

Витольда ЮРКЕВИЧ.

(Переводчица)

Дорогой Анатолий!

… Журналу «Урал» исполнилось полных пять лет. За эти пять лет самым крупнъш и самым интересным романом будет твой «Иван-чай». Я нашим товарищам сейчас все время твержу, что проза этого года должна пройти под Знаменским. Он должен быть эталоном остроты и мастерства. Ты понимаешь, что это вовсе не комплимент и не банальная любезность. Мне это делать нужды нет. Я действительно рад, что твой роман печатается у нас, я горд этим. В журнале пошла настоящая проза.

В. СТАРИКОВ.

Зам. редактора журнала «Урал»

Свердловск. 1.01.1963 г.

Дорогой Анатолий!

…Каюсь, начал я читать «Иван — чай» по обязанности, но вскоре роман захватил меня, и я уже не выпускал его из своих рук.

Все мне интересно в твоей книге: и свежее чувство Севера (я северянин, завидовал тебе), и люди твои, и события, которые ты умеешь вязать в крепкий узел. Особенно с большим напряжением читал я первую половину романа. Меньше мне понравилась вторая половина, там ты, по — моему, несколько сбиваешься на беллетристику, схему. А в целом книга хорошая, настоящая.

Желаю тебе новых успехов, я верю в тебя!

Федор АБРАМОВ.

Ленинград. 14.10.1964 г.

P. S. Да, первый твой роман я тоже прочитаю. Писатель Знаменский мне интересен.

Толя! Ты написал прекрасную повесть «Завещанная река»! Обязательно пошли номер «дяде Левонтию» …об В. А стафьеве. Вот так и дальше надо, без хитромудрия.

К собранию приезжай пораньше. Поздравляю еще раз с творческой удачей!

В. ЛИХОНОСОВ.

Анатолий, здравствуй!

…Еще по дороге домой, в Переяславской или Каневской, я и Жора купили твой «Обратный адрес». Прочитал еще две твои

повести. «Обратный адрес» меня потряс. Казалось бы, все обычно, жизнь знакомая и понятная, как кукурузный початок, а два дня хожу под впечатлением. Большой ты писатель, Анатолий! Это не комплимент. Просто я счастлив, что жизнь свела меня с тобой — мастером, у которого есть чему учиться. Общение с тобой обогащает, ибо на многое в жизни начинаешь смотреть иными глазами. И не только я…

… Особенно меня потряс сон Федора. Как это сделано! И как ты умело и тонко впряг в телегу мать Федора под самый конец. И никакой натяжки. Все естественно и мудро. Короче, и сон, и не сон… Нет слов, чтобы выразить.

Спасибо, Анатолий, за животворное волнение.

Твой Виталий.

(В. Фролов, поэт, военнослужащий)

Ейск. 30.15.1972 г.

Дорогой Толя!

Еще в феврале, когда я лежал после первой операции, прочитал твой великолепный, взволновавший меня до глубины души рассказ о М. Грекове («Панорама»), прочитал и собирался, как только встану, написать тебе свое восторженное мнение…

Теперь вот поправился, прочел вчера в «ЛГ» о твоем рассказе и устыдился, что за три месяца не написал тебе того, что собирался сделать в худое для себя время. Прости и прими мою самую добрую радость за этот благородный рассказ.

Твой Дмитрий ГУСАРОВ.

(Писатель, редактор журнала «Север»)

22.12.1977 г.

Дорогой Анатолий Дмитриевич!

Поздравляю Вас с наступающим Новым годом! Рад пожелать Вам новых творческих успехов, личного счастья.

Ваша статья о Шолохове «Купина неопалимая» в «Нашем Современнике» мне представляется самым ярким выступлением в юбилейные дни (в связи с 70–летием М. Шолохова).

Вы умеете доказывать, опровергать ложное, бороться. Умеете придать логической мысли эмоциональную взволнованность и широту жизневосприятия.

Обнимаю Вас, пишите.

Федор БИРЮКОВ.

(Зав. кафедрой Литинститута, литературовед)

Москва. 30.12.1975 г.

Здравствуй, Анатолий Дмитриевич!

… Вспомнил твой рассказ «Не белы снега»…

Я читал его еще зимой и как-то не очень вник в него. Недавно взял журнал и перечитал заново — и, честное слово, несколько дней жил им. Великолепный рассказ! По — моему, лучший у тебя из того, что я читал. Уровень классики.

Обнимаю тебя, твой

И. ДАНИЛОВ.

Волгоград. 20.10.1970 г.

Дорогой Толя!

…Я недавно вернулся с севера, ездил за Красновишерск по делам. Перед самым отъездом получил от тебя бандероль. Ночью заглянул в рукопись, хотел пробежать первую страницу и — не оторвался, пока не прочел твою повесть «Без покаяния». Читал до трех часов и потом уснуть не мог, так «неспатый» и на пароход ушел. Здорово, Толя, очень здорово! И не потому, что «кукушка хвалит петуха…».

Это у тебя вообще лучше всего… И ничего, что ее не печатают. Пусть лежит. Главное, что она есть, лежит, а остальное «дело шестнадцатое». Тут — как бы само писалось. Нечего выдумывать и лукавить.

Спасибо тебе, спасибо! Хорошо, что ты преодолел себя,

превозмог. Это твоя победа над собой. Может, самая важная в твоей жизни, хотя ты того и знать не мог…

Твой В. АСТАФЬЕВ.

Пермь. 1963 год.

Дорогой Анатолий Дмитриевич!

«Красную лаву» прочел залпом. В основном — по направлению, историческим документам, главным событиям — крепко, железно,

неподкупно. И очень хорошо, что восстанавливаете исторические события и правду жизни.

В художественном плане довлеет романтика. Образ Миронова тоже романтичен. Да, он имел эту черту в характере — блеск и горячий темперамент. Он был еще очень человечен с людьми. Ищите более реализма в действиях, думах, в общении с народом Миронова. А в целом — молодец! Очень радуюсь за Вас.

К. ПРИЙМА.

(Литературовед)

Ростов — на — Дону. 12.09.79 г.

… Три вырезки из газеты получил. Прочел. Написано крепко. Талантливо! Под стать шолоховским страницам. Ах и молодчина же Вы!

И все в этих кусках правда жизни, строго документально и художественно. Спасибо.

К. ПРИ ЙМА.

10.05.79 г.

Дорогой Анатолий Дмитриевич!

И эти два отрывка из Вашего романа «Красные дни» — хороши! Вы входите все глубже в материал и в эпоху. Есть много ярких деталей, примет времени, чувствуется дыхание типов эпохи (даже машинистка, принявшая документы Ковалева, и то, как она их ему вернула — видна стерва!) Молодчина Вы! …Я задержал прежнюю пачку и эту. Может, удастся — дам М. А. Шолохову.

К. ПРИЙМА.

Здравствуйте, дорогой Анатолий Дмитриевич!

Вы — настоящий, милостью божьей художник, как сказал бы Горький. Ни разу не усомнился я в правдивости рассказываемого (изображаемого) Вами, а такая незначительная на первый взгляд деталь, как описание на одной из страниц кайзеровских кавалеристов, восхитила меня: именно такими видел их я, будучи восьмилетним мальчиком, в 1918 году, — их, немцев — всадников, и их лошадей. Я ведь жил тогда на Украине, под Черниговом.

В опубликованных отрывках романа есть прекрасно,

талантливо написанные главы, раскрывающие духовный мир, умонастроения, поступки, характер его героев — Миронова, Филатова, Макарова, Подтелкова, Сталина, Мацепуро и мн. других. Ярко написаны отдельные сцены, эпизоды…

Очень жаль, что не печатают роман целиком. Говорю это искренне.

Крепко обнимаю.

А. МАЦАЙ.

(Литературовед, проф. Киевского университета)

30.04.1980 г.

Здравствуй, Толя!

… Твой однотомник «Избранное» получился крепкий и ядреный. Вновь перечитал прекрасные «Не белы снега…», усмешливо — горький, сделанный, а точнее выплаканный тобою «Хлебный год», и светлую песню первых грез «Чем жизнь красна», и мудрую, много показывающую невидимого «Панораму», и «Прометея»…, с которого для широкого читателя и начался писатель Знаменский.

От всей души поздравляю тебя с этой книгой! И совсем не потому, что на ней стоит слово «Избранное», а потому лишь, что тут, как мне показалось, нет вещей, которые можно было бы не писать…

Иван ДАНИЛОВ.

Волгоград. 25.02.1987 г.

Здравствуйте, уважаемый Анатолий Дмитриевич!

… Читаю с наслаждением «Красные дни». Теперь я понимаю такую мизерность тиражса. Надо сделать все, чтобы Ваш роман вышел в «Роман — газете». Это крайне необходимо сейчас, когда «профессора» типа Афанасьева и Эдельмана открыто и настойчиво требуют «реабилитировать доброе имя Троцкого». Этого допустить нельзя. Троцкий потопил Россию в крови, им были вырезаны сотни и тысячи русских офицеров, принявших революцию и сделавших гражданскую войну. Вы все это прекрасно знаете и пишите. Спасибо за правду и книгу. Дай Бог Вам здоровья и новых творческих успехов. Я буду говорить в Москве о крайней необходимости публикации романа, ибо время может быть упущено.

Ю. СЕРГЕЕВ.

Орджоникидзе (Владикавказ). 24.06.1988 г.

Дорогой Анатолий Дмитриевич!

Очень рад, что Вы на хорошем художественном уровне выполнили серьезный труд. Поздравляю с успехом! В современной ситуации — с великим успехом!

Пишите. Всего Вам доброго. Жму Вашу руку борца, умеющего сражаться за истину. Обнимаю Вас.

Ф. БИРЮКОВ.

Москва. 16.08.1988 г.

Глубокоуважаемый Анатолий Дмитриевич!

Разрешите от всей души поблагодарить Вас за опубликование замечательной статьи «Донская альтернатива»! Великолепная, логически обоснованная отповедь реаниматорам Троцкого и троцкизма!..

Мне, уроженцу Кубани, особенно приятно было прочитать Вашу статью, узнать правду о своих предках, героях революции и гражданской войны, их трагическую судьбу. Очень рад, прямо-таки ликую, что родная Кубань воспрянула, живет ратной жизнью, отстаивает правду и справедливость.

В. ЮДИН.

Тверь. 10.12.1988 г.

Дорогой Анатолий Дмитриевич!

Пройдут годы, века пройдут, а тем, кому суждено жить после нас, познать казачество нашего времени в полноте жизни его можно будет лишь при подмоге книг, которые были вровень со своей эпохой.

Читая Ваше повествование «Красные дни», радовался тому, что в ряду книг о казачестве, книг мною любимых, а среди них и классика Федора Крюкова и Михаила Шолохова, и Александра Серафимовича, и Анатолия Калинина, и в этом же ряду Ваш роман о Миронове… Поздравляю с удачей, которая не так часто бывает даже в нашей богатой русской литературе.

Исполать Вам!

Ваш Петр ДУДОЧКИН.

Тверь. 10.03.1989 г.

Телеграмма.
Краснодар, Знаменскому.
Прочитала повесть в «Севере» № 10 «Без покаяния». Потрясена искренностью, силой таланта. Великое спасибо. Так еще никто не писал. Благодарю,

Ваша Тамара ЛИСИЦИАН.

(Кинорежиссер)

Москва. 16.05.1989 г.

Добрый день, Анатолий Дмитриевич!
Душевное спасибо за Ваш настоящий, праведный роман «Красные дни»! Больно и горько, что такие благородные и мужественные люди, как Ф. К. Миронов, были в забвении, их имена тщательно скрывались от нас. А всякая пакость крутилась у власти, и мы, слепые и обманутые, несли на демонстрации портреты лгунов и негодяев.
Впервые имя Миронова я услышал па Высших литературных курсах.
И вот… Ваш роман. Вы тоже совершили свой духовный подвиг!
Дай Бог Вам крепкого здоровья ради пашей жизни, ради новых взволнованных строк!
С глубоким уважением

Андрей ТАРХАНОВ.

(Поэт)

г. Ханты — Мансийск. 3.05.1989 г.

Дорогой Анатолий Дмитриевич!
Сердечно поздравляю Вас с присвоением Государственной премии за «Красные дни». Это, несмотря на такие происки, победа Вашего Слова и Вашего служения России.
Я все еще нахожусь под впечатлением Вашего выступления на Пленуме Союза писателей и Ваших статей. Вы истинный боец, которого голыми руками не возьмешь. Молю Бога о Вашем здоровье

и укреплении Духа!

П. ВЫХОДЦЕВ.

(Профессор)

Ленинград. 11.01.1990 г.

Дорогой Анатолий Дмитриевич!

Прими поздравления по случаю Нового года, который ты встречаешь отлично изданной, содержательной книгой, само появление которой еще раз свидетельствует о казацкой стойкости и прочной корневой системе писателя Знаменского. В новой своей работе обязательно поделюсь с читателем радостью встречи с хорошей, доброй книгой «Хождение за правдой».

Через всю книгу проходит светлый образ автора, который в своем «хождении за правдой» прошел через семь кругов ада и сохранил веру в русский народ, в совестливую кротость простого человека.

Ты один из немногих сегодня русских писателей, который открыто вышел па бруствер окопа под свист неприятельских пуль и решительно, не оглядываясь, двинулся в атаку на позиции недругов святой Руси, готовый жизнь отдать во имя ее спасения; ты так и остаешься на острие атаки, хотя позади тебя из окопов навстречу пулям вышли немногие товарищи по перу; что касается русского народа, то он — «безмолвствует», как в пушкинском «Борисе Годунове», и долго ли будет продолжаться такое грозовое молчание, никто не знает.

Хочется пожелать тебе поберечь сердце, да не удержать тебя от сечи, в которую ты бросаешься, как только услышишь звук боевой трубы. Видно, отец с матерью дали тебе поистине казацкую жизненную закваску, которая рассчитана на многие годы живой жизни… Пусть же сопутствует тебе удача, здоровье и успех!

Крепко обнимаю

Юрий ДЮЖЕВ.

(Доктор филолог, наук, профессор)

Петрозаводск. 20.12.1991 г.

…Повесть «Без покаяния» прочитал в вагоне между Таганрогом и Орлом, не отрываючись. Силен — хитер бобер,

ухитрился ты пройти по лезвию, и хоть бы что. Редко кому удается.

…Думаю, что между солженицынским Шуховым и твоим Сетоткиным все же существует дистанция нравственная, хотя у тебя и сюжет лучше, и язык, и все прочее лучше.

Василий БЕЛОВ

Вологда. 17.04.1993 г.

И ЭТО ВСЕ О НЕМ

«Первая встреча с прозой Анатолия Дмитриевича Знаменского у меня состоялась в конце пятидесятых годов: прочитал его рассказ «Прометей-319». Впечатление огромное. По прошествии многих лет я помню в нем каждую деталь, каждый образ: столь глубок и поэтичен этот рассказ. Уже тогда было ясно — в литературу пришел человек народного творческого дара».

Сергей ХОХЛОВ. (Поэт)

«Как закалялась сталь», мы знаем по книге Николая Островского. А как закалялся характер и талант русского человека в немыслимо трудные недавние времена, мы узнаем по трагической и прекрасной судьбе большого русского писателя Анатолия Знаменского».

Кронид ОБОЙЩИКОВ. (Поэт)

«Чем привлекает проза Знаменского? Прежде всего остротой сюжета, глубиной конфликта, жизненной достоверностью и значимостью темы. Он из тех «охотников», которые по воробьям не стреляют».

Петр ПРИДИУС. (Прозаик, публицист)

«А. П. Чехов писал брату Александру о литературном творчестве: «Людям давай людей, а не самого себя». Именно таким таинством — способностью живописать людей и одарен Анатолий Дмитриевич Знаменский».

Виталий БАКАЛДИН. (Поэт)

«Я бы рекомендовала книги Анатолия Знаменского не только для чтения, но и для изучения молодым писателям. Образность, точность языка, запоминающиеся характеры, выбор и реализация темы — все это поможет осмыслить и обогатить творческий труд молодых.

В моей домашней библиотеке есть полка, где стоят, как в строю, книги земляков. Много лет назад на вопрос Зуюменского: откуда я, горожанка, знаю старинные казачьи песни, я ответила стихами:

Выходят запевалы наперед,
И души открываются
навстречу,
И руку на плечо седая
вечность
Сегодняшнему времени
кладет.

Это же можно сказать о творчестве Знаменского».

Валентина СААКОВА. (Поэт)

«Я много лет знал Анатолия Дмитриевича. С первой встречи и по день его кончины я всегда относился к нему с уважением. Он был приветлив. Всегда открыт для разговора. Обо всем и обо всех. И на пределе откровенности. Что особенно подкупало меня. Он был смел в суждениях о политике и политиках. Участлив. С добрый десяток литераторов, если не больше, получили от него рекомендации в СП. В том числе и аз грешный.

Он не терпел лицемерия. Резок и прям в оценках. Талантлив особым талантом. По характеру — настоящий боец».

Виктор РОТОВ. (Прозаик)

«Монолит честности, справедливости, принципиальности, скромности, знамя несгибаемой воли, мастер художественного слова — все это Знаменский».

Сейтумер ЭМИНОВ. (Поэт)

«Нередко даже известные писатели грешат неточными фразами, пустословием, длиннотами, используемыми в качестве «наполнителей». У Знаменского проза плотная, точная, каждая фраза несет большую смысловую нагрузку. Тексты его почти не поддаются

правке в стилистическом плане. Это я говорю как проработавший в альманахе «Кубань» пять лет и с пристрастием читавший рукопись автора «Красных дней».

Александр СТРЫГИН. (Прозаик)

«Уникальность творчества Анатолия Знаменского — в патриотическом осмыслении лично им пережитого и выстраданного».

Виктор ИВАНЕНКО. (Прозаик)

«Меня поражает энциклопедичность Анатолия Дмитриевича, особенно что касается событий периода гражданской войны, свидетельством чего является его главная книга — «Красные дни».

Григорий ВАСИЛЕНКО. (Прозаик)

«Знаменский — большой, настоящий писатель. Я рад, что с ним меня связывает не только творческая, но и чисто человеческая дружба».

Исхак МАШБАШ. (Прозаик, поэт)

«Знаменскому как Человеку и Писателю нечего переиначивать ни в жизни, ни в книгах — в этом особая значимость его личности».

Александр МАРТЫНОВСКИЙ. (Прозаик)

ЧИТАТЕЛИ ДОНА О РОМАНЕ «КРАСНЫЕ ДНИ»

Интерес к произведениям Анатолия Дмитриевича Знаменского и к нему самому в нашем районе очень высок. Думаю, не только потому, что он наш земляк. В этом году, наконец-то, благодаря «Роман — газете», широкому кругу читателей стал доступен роман-хроника «Красные дни». Это, наверное, первое значительное произведение, проливающее свет правды на безбрежное «белое пятно» трагедии русского казачества. Широко показана в романе личность Ф. К. Миронова — нашего национального героя, полководца — гения, общественного деятеля, всенародного заступника. Казачья правда Миронова — это правда всего трудового народа. И правда эта одна.

В. ПАВЛОВА.

Р. п. Кумылженский

Наконец-то в период гласности приоткрыта завеса на судьбу нашего земляка, легендарного командарма 2–й Конной армии Ф. К. Миронова. Да, не только о его жизни и трагический смерти узнали мы правду, но и о судьбе всего донского казачества.

Что было известно моему поколению (рожденному в 30–е годы) о Ф. К. Миронове? Только то, что о нем было сказано в 4 томе «Истории гражданской войны в СССР», изданной в 1957 г. Не стану цитировать, скажу лишь, что в моем представлении имя Миронова ассоциировалось с понятием «бунтаря», мятежника и тому подобного. Потом, уже позже, я несколько изменил свое отношение, но узнать истину смог, лишь прочитав роман нашего писателя А. Знаменского «Красные дни». Думаю, А. Знаменский создал монументальное произведение о казачестве в революции, о том казачестве, которое приняло социалистическую революцию, а в годы войны сражалось за Советскую власть, за власть трудового народа, но которому выпала на долю драматическая судьба.

В кругу семьи мы делились своими мнениями о романе, и оказались они единодушными — такой книги о казачестве еще мы не читали. Были слезы, боль от горькой правды, обида за казаков, наших отцов и дедов и в конце концов — радость от сознания, что наконец-то мы узнали ее — правду.

К. ИВАНОВ, механизатор

Роман — хроника А. Знаменского «Красные дни» — широкое художественно — историческое повествование о казачестве, храбром и верном сыне Дона Ф. К. Миронове.

С первых страниц роман захватывает своей простотой и доходчивостью нашего казачьего говора. Приятно встречать уже некоторые забытые слова и названия. Будучи подростком, Миронов носил чирики, при станичном атамане содержались казаки — сидельцы, а лошадей запрягали в дрожки — тарантас. Ловили рыбу плетеной сапеткой, посещали игрища и посиделки, имели дело с табачным кисетом, а одевались в ветхий зипун. Автор умело сочетает примечательность донской старины с шедеврами Москвы: «Плывущие по небу купола и затейливая вязь храма Василия Блаженного».

Пожалуй, впервые широко представлены всем нам знакомые наши места: Кумылженская, Слащевская, Глазуновская, Скуришенская, Михайловка, Усть — Медведицкая, Урюпинская и другие; замечательные люди наших мест — писатели Ф. Крюков и А. Серафимович, революционер Степанятов. Автор оперирует на редкость глубокими знаниями военного дела, структур красной и белой армий, стратегии и тактики их действий. Дает политическую оценку этим действиям руководителей Советской республики и ее врагов.

Ф. К. Миронов был не только выдающимся полководцем, но и незаурядным организатором крестьян на активный сельскохозяйственный труд. В 1920 году он заведовал земельным отделом Донской области. В это время, как отмечает автор, положение в сельском хозяйстве было тяжелейшее. Появились первые признаки голода, и вот Миронов, не слезая с коня, скакал по хуторам и станицам от Ростова до Урюпинской и с представителями местной власти по справедливости делил земельные наделы по паям, подымал людей на ее обработку. Наш земляк, бывший заворготделом Хоперского окружкома ВКП (б) старый большевик Никита Иванович Фролов рассказывал, что он лично встречался с Филиппом Кузьмичом в Урюпинской, вместе работали с крестьянами на земле. Отличительной чертой Миронова была страстная убежденность в правоте Советской власти. Люди верили ему.

В наши дни из романа — хроники отчетливо звучит и видится

прошлое: предательство троцкизма и репрессии сталинизма. Ведь до реабилитации Ф. К. Миронова (в 60–е годы) социальную неловкость испытывали наши земляки — мироновцы (однополчане Ф. К. Миронова), ныне покойные П. З. Минаев, А. С. Коротков, Д. Я. Сурков из Кумылженской; Ф. А. Никитин из Родионовского, П. И.

Сиськов из Поддубровки и многие другие, которые и говорить-то боялись, что они его бывшие боевые соратники по 2–ой Конармии. Спасибо писателю — земляку за широкое повествование о Миронове, о революционном казачестве.

Н. КУРОПАТКИН.

Р. п. Кумылженский

Долгие годы в нашей стране бытовала вопиющая несправедливость к донским казакам.

В школьных учебниках о казаках упоминалось лишь как о царских жандармах, разгоняющих демонстрации городских рабочих.

Под влиянием негативного отражения в литературе роли донских казаков в революции многие из моего поколения старались отмежеваться от своих предков — казаков.

А ведь еще в 1870 г. Л. Толстой записал в своем дневнике: «Вся история России сделана казаками. Недаром нас зовут европейцы казаками. Народ казаками желает быть».

В истории донских казаков много белых пятен.

Почему, например, ликвидирована Донская республика, главой которой был избран Федор Подтелков?

Кто дал указание снести бронзовый памятник в г. Новочеркасске народному герою 1812 г. казаку Платову, о котором и сейчас поют песни казаки, снести и вывезти на металлолом!

Чем руководствовался Волгоградский облисполком, дав указание о переименовании в области райцентров — станиц в рабочие поселки? Коренное население против этого переименования.

Одно из белых пятен ликвидировал наш писатель — земляк Анатолий Дмитриевич Знаменский своим романом — хроникой «Красные дни».

Еще три года назад, прочитав роман в журнале «Кубань», я

другими глазами посмотрела на портрет своего деда Логвина, поместила его в семейный альбом и записала историю его жизни и смерти.

Сфотографирован он был в 1914 году в г. Кишиневе, где служил в армии, накануне Первой мировой войны. А через два года он погиб в боях за Кишинев, имел два креста за храбрость. Он погиб за Россию, а я его стыдилась, не проявляя интереса к своим предкам. Причиной такой несправедливости были русофобы, ненавидящие Россию и русский народ. Они хотели, чтобы мы забыли о своих предках, о своей малой родине. Но правда восторжествовала. Помог в этом наш земляк Знаменский. Романом «Красные дни», написанном на фактических исторических

материалах. Мы узнали, что большая часть донских казаков была за власть Советов и воевала в гражданскую войну с врагами Советской власти и двурушниками, каковыми были Троцкий (Бронштейн) и его команда…

Царский указ о мобилизации донских казаков во внутренние войска был встречен казаками с огромным возмущением. Миронов ездил в Питер к царю с протестом от имени казаков Усть — Медведицкой станицы и был за это посажен в тюрьму.

Когда я читала роман, предательская деятельность Троцкого вызывала во мне бурную реакцию. Сколько он загубил славных сынов Дона?! И этого врага донских казаков ставят сейчас некоторые ястребы рядом с Лениным, называя правой его рукой. Я восхищаюсь смелостью и мужеством донского казака А. Знаменского, он не побоялся поведать нам правду о казаках, о народном герое Ф. К. Миронове, погибшем за правду народную. А бояться есть чего.

Ведь Шолохова, рассказавшего правду о вешенском восстании казаков, травят до сих пор. Не далее, как в октябре, по телевизору ведущий «Взгляда» брал интервью у одного из 28–ми членов королевской комиссии Швеции по присуждению Нобелевской премии. Этот член комиссии сказал, что присуждение Шолохову этой премии считает ошибкой, так как есть сомнение в том, что Шолохов — автор «Тихого Дона».

Травля Шолохова Михаила Александровича продолжается.

Н. ЖУКОВА.

Р. п. Кумылженский

Говорят, что из песни слов не выкинешь. Но в былые времена из казачьей «песни», как и из «песен» всех народов нашей страны, а точнее, из характеристики казаков, выбросили все, оставив одно определение: «казак» — это вольный человек. И как же дорого он заплатил за свою волю — матушку, за смелость и отвагу. Каких только ярлыков ему ни навешали: и предатель, и стяжатель, и каратель.

Так за что же казаков награждали Георгиевскими крестами? Кому не угодили Платов и Бакланов? Когда и с чего началось разрушение, уничтожение наших корней, устоев, традиций? Какой лукавый разжигал бессмысленную братоубийственную бойню, породившую зло, ненависть, мщение, разруху?

На все давно мучившие меня вопросы ответ найден в романе Знаменского «Красные дни».

Все прошло… Никто уже не наденет юбку, длиной до самой

земли, ни штаны с лампасами… Все сгорело в огне революции и гражданской войны…. Но так хочется, чтобы Миронов и Думенко больше не умирали, чтобы их бескорыстное служение трудовому народу, их стремления к подлинной правде и справедливости жили вечно.

Злой силой исторических событий тех лет казачество было не только уничтожено, по многие и многое уничтожено. От земли отлученные, от правды отученные, воли лишенные — многие казаки и их потомки покидали родные места. Но где бы вы ни жили, казаки-станичники, помните отчий край, любите его, гордитесь казаками-героями всех времен, смелостью и открытостью своих предков!

Отдадим должное земляку — писателю Знаменскому за его нелегкий, упорный труд для восстановления правды. Земной поклон Вам, Анатолий Дмитриевич!

Да оплатится Ваш благородный труд признанием всех жаждущих знать правду!

Т. МЕЛИХОВА.

Газета «Победа» Подтелковского р — на.

1998 г.

ПАМЯТИ ПИСАТЕЛЯ-ЗЕМЛЯКА

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ

В рассказе «Хлебный год» Анатолий Дмитриевич Знаменский так опишет начальную точку «привязки» своей биографии: «… Если географически, то посреди земного шара, потому что сколько, бывало, ни беги от него в верхнюю сторону, за Фоломкины прясла и Кузьмичево гумно, все равно рано или поздно вернешься обратно с другой стороны, через Паранькину леваду либо Финогенов крутояр…». Это о хуторе Ежовском, где родился будущий писатель.

Отец его, Дмитрий Максимович Знаменский, в 1910–1917 гг. служил в атаманском полку. В гражданскую войну был писарем штаба 23–й (мироновской) стрелковой дивизии 1–й Конной армии. Немудрено, что после установления Советской власти стал ее активистом. Неудивительно и другое: нетерпимый ко лжи и насилию, стал гонимым за казачью правду и справедливость, вынужден был жить в разных станицах — Слащевской, Нехаевской, Кумылженской. Мать — Анна Капитоновна, родилась в Ежовском, в семье казаков. Обучалась портняжить, а став взрослой, работала в ст — це Вешенской, где и познакомилась с Дмитрием. Отец работал там секретарем сельского Совета.

Анатолий рос в обстановке простого сельского быта. До 1926 г. — в Ежовском; 1926–1930 гг. — в ст — це Слащевской; последующие годы — до 1937 г. в ст — це Нехаевской; в 1937–1940 гг. — в ст — це Кумылженской. С раннего детства мальчишка увлекался рисованием, став подростком, в 9–10 классах кумылженской средней школы написал и отослал в Москву свой первый рассказ. На конкурс. В 10–м классе с двумя одноклассниками решили издавать рукописный журнал.

Молодежи всегда свойственно искать причины и следствия происходящего. После одной из встреч с обкомовским докладчиком за неосторожные вопросы Анатолий был арестован. Это случилось 17 апреля 1940 года. Следом были арестованы и его друзья, отец и бывший председатель Ежовского сельсовета Тибирьков. Было состряпано обычное для тех лет политическое дело. Состоялся суд. Анатолия и всех остальных сослали на Север.

Это был крутой излом в судьбе юноши. Но в суровом краю

Анатолий Знаменский не сломался, не разуверился в людях. Особенно трудными были годы ссылки после отбывания срока в лагере. Лесоповал, строительство дорог в болотистой тайге, обустройство мест дорого обходились ссыльным. Знаменский

перенес все это стоически. Здесь он встретил настоящих, душевных людей. Многие из них стали прототипами героев его первых журналистских и литературных опытов. Здесь он окончательно уверовал: в жизни, какой бы многотрудной ни была она, есть высшие ценности — Правда, Добро, Справедливость. Эти идеалы стоили того, чтобы бороться и утверждать их в своем творчестве.

Через шесть лет пребывания в лагере Знаменскому определили спецпоселение без права выезда. Он продолжал работать, как и прежде. В этот период проявились ярко его трудолюбие и природная смекалка, приобретенные знания. Анатолий стал начальником отдела геологопоисковой партии, а почувствовав тягу к литературному творчеству, перешел работать журналистом в газету «Ухтинская правда».

На Севере Анатолий Знаменский стал писателем. Своего рода экзаменом стал его первый роман «Неиссякаемый пласт» (1950–1952 гг.). Второй его роман «Ухтинская прорва» (1957 г.) еще в рукописи стал для него «пропуском» в Союз писателей СССР. В 1958 г. роман был издан. С этого момента А. Знаменский становится профессиональным литератором. Жажда новых впечатлений требовала отъезда с Севера. Последующие два года (1958–1960 гг.) он учится на Высших литературных курсах в Литинституте в Москве.

В институте судьба свела его со многими маститыми уже мастерами слова — В. Астафьевым, С. Викуловым, Е. Носовым… По окончании курсов — новый поворот в судьбе: встреча с родным краем на Хопре. Милая долгожданная встреча. Хотелось остаться здесь навсегда. Но можно ли здесь жить без дальнейшего преследования? Выбор был мучительным. Он не хотел расставаться со своим казачьим прошлым и потому решает поселиться на Кубани. Хадыженск, Горячий Ключ, окончательно — Краснодар. Там он уже сотрудничает с альманахом «Кубань». А в 1972–1974 гг. редактирует его. На Кубани им написан ряд крупных произведений: роман «Иван — Чай», «Год первого спутника», «Сыновья Чис

тякова» и т. д. Повести, рассказы, литературно — критические статьи. Книгой — судьбой назвал он свой роман — хронику «Красные дни», венчающий весь его творческий путь.

Когда-то М. А. Шолохов говорил о своем «Тихом Доне»: «Я писал о том, как воевали белые. А как воевали красные, — об этом, видимо, напишут другие». На долю Знаменского выпало счастье быть тем другим. Тема участия казачества в Гражданской войне, о легендарном полководце Красной армии Ф. К. Миронове была, кажется, завещана Знаменскому самой историей. Роману —

эпопее «Красные дни» писатель отдал 15 лет жизни. Эти годы вместили в себя пристальное чтение необъятного количества книг и брошюр, относящихся к теме; кропотливую работу в архивах, обширную и обстоятельную переписку, многочисленные встречи с участниками гражданской войны. В 1977 году Знаменский встретился с известным рябовским казаком Н. И. Приваловым и подарил ему книжку своих стихов «Курганы».

Писатель и поэт Знаменский издал два сборника с литературно — критическими статьями: «Купина неопалимая» и «Убежденность» (1982–1986 гг.).

Книга «Купина неопалимая» — ярчайшее литературно — критическое и публицистическое выступление писателя в связи с 70–летием М. А. Шолохова. В книге особое место уделяется литературной поросли на Кубани.

До последних дней Анатолий Дмитриевич Знаменский активно работал в области публицистики, участвовал в общественном движении за возрождение России и казачества, поддерживал молодые таланты. Разоблачал окололитературных прохиндеев, примазавшихся, словно пиявки кровососные, к здоровому телу русской литературы.

Творчество А. Д. Знаменского — воистину неиссякаемый пласт жизнелюбия, утверждения правды и справедливости.

А. КАЗЬМИН, земляк А. Д. Знаменского, уроженец х. Рябовского.

Газета «Прихоперье». № 54. 30 апреля 1998 г.

ИЗ КАЗАЧЬЕЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ

ЗНАМЕНСКИЙ АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ (01.05.1923, х. Ежовка ныне Алексеевского р — на Волгоградской обл. — 3.03.1997, Краснодар); русский писатель, войсковой старшина Всекубанского казачьего войска. Из донских казаков. Рос в семье Дмитрия Максимовича Знаменского, который в годы Гражданской войны был старшим писарем штаба 23–й мироновской стрелковой дивизии. За месяц до окончания кумылженской средней школы (апрель 1940 г.) необоснованно арестован по 58–й статье и отправлен на шесть лет в Ухто — Печорский лагерь. В Коми АССР жил с 1940 по 1958 г. Работал строителем, десятником каменного карьера, начальником отдела труда и зарплаты в управлении Верхне — Ижевского разведочного района, заведовал отделом промышленности в редакции городской газеты «Ухта». В 1957 г. реабилитирован и принят в члены Союза писателей СССР. В 1960 году окончил Высшие литературные курсы при Литинституте им. Горького. С 1960–го жил на Кубани.

Его писательский дар проявился рано. В 15 лет получил поощрительную грамоту II Всероссийского детского и юношеского литературного конкурса «Наша Родина» за научно — фантастическую повесть «Тайна острова Зэкка». Жизни печорского края посвящен цикл книг: «Неиссякаемый пласт» (1956), дилогия «Ухтинская прорва» и «Иван — чай» (1958–1962).

Если «Ухтинская прорва» — история освоения богатого русского севера в дореволюционное время, то «Иван — чай» описывает жизнь края в период Великой Отечественной войны. В 60–е годы издаются повести: «Сыновья Чистякова», «Как все», «Осина при дороге», «Обратный адрес», «Завещанная река», «Кубанка с красным верхом».

Вершиной творчества стал роман — хроника «Красные дни» в двух книгах, над которым А. Знаменский работал в 1971–1986 гг. В романе развернуто эпическое полотно Гражданской войны на Дону и Кубани с ее драматическими противоречиями и движу

щими силами, с ее легендарным участником — вождем красного казачества, командармом 2–й Конной армии — Филиппом Кузьмичом Мироновым, носителем правды, защитником интересов трудового народа. Высокий уровень романа гармонически сплавлен с богатым фактическим материалом, заимствованным из документов.

Всю свою жизнь, особенно в последние годы, А. Знаменский страстно отдавался публицистической деятельности. Его яркие

патриотические статьи, направленные против разрушения СССР и разложения России, находили горячий отклик в широкой читательской аудитории. Неоднократно избирался членом правления Союза писателей РСФСР, был главным редактором альманаха «Кубань» (1972–1974). А. Знаменский — лауреат Государственной премии РСФСР (1989), премии им. М. Шолохова (1993), премии Всекубанского казачьего войска им. атамана Я. Кухаренко (1994) и др. Принимал активное участие в возрождении казачества. А. Д. Знаменский — член научно — редакционного совета КЭ.

НАГРАДЫ И ПООЩРЕНИЯ А. Д. ЗНАМЕНСКОГО

В возрасте 15 лет получил поощрительную грамоту II Всероссийского детского и юношеского литературного конкурса «Наша Родина» за научно — фантастическую повесть «Тайна острова Зэкка» (за подписью Корнея Чуковского).

1978 г. Премия Краснодарского крайкома ВЛКСМ в области литературы и искусства им. Николая Островского за книгу «Безымянные высоты».

1989 г. Государственная премия РСФСР им. М. Горького за роман — хронику «Красные дни».

1993 г. Государственная премия им. М. Шолохова за повесть «Без покаяния».

«Золотое перо» Союза журналистов Кубани за публицистические статьи.

1994 г. Премия им. Я. Кухаренко от Всекубанского казачьего войска.

1996 г. Премия администрации Краснодарского края в области культуры и искусства им. К. Российского.

ПАМЯТИ ПИСАТЕЛЯ — ЗЕМЛЯКА

В 1998 году в Краснодарском крае и в целом по России отмечалось 75–летие известного русского, советского писателя Анатолия Дмитриевича Знаменского. К сожалению, Анатолий Дмитриевич ушел из жизни за год до своего 75–летнего юбилея.

Группа энтузиастов города Хадыженска, где в 1960–1971 гг. жил и работал Знаменский, решила выступить с инициативой установить мемориальную доску в память о писателе. Возглавил инициаторов депутат районного Совета, член КПРФ Валериан Константинович Иевлев, а всевозможную помощь оказывал его товарищ по партии, председатель районного отделения ОПД «Отечество» (Кондратенко) Алексей Никифорович Охрименко.

Средства на ее изготовление и установку были выделены в том числе из районного бюджета, благодаря стараниям прежде всего хадыженских депутатов районного Совета. Было решено установить мемориальную доску в самом центре города Хадыженска, на самом монументальном его здании — городском Доме культуры. Торжественная церемония установки мемориальной доски в память о дорогом сердцу горожан

писателе состоялась 26 ноября 2000 года.

Думаю, что подробно рассказывать об Анатолии Дмитриевиче Знаменском как писателе нет необходимости. Многие жители района знают, что им написаны десятки литературных произведений: романов, повестей, рассказов. Анатолий Дмитриевич являлся лауреатом государственных премий и был удостоен многих правительственных наград. А герои его произведений — это простые нефтяники, лесоразработчики, сельские труженики. Донской казак Анатолий Знаменский много писал и о казачестве, был у истоков возрождения казачества как общности на Кубани. По словам жены Знаменского, Нины Сергеевны, их семья переехала в Хадыженск из северных областей России. В Хадыженске душа Анатолия Дмитриевича оттаяла от северных невзгод. Здесь же родились многие из его книг, в том числе самые значимые произведения: роман — хроника «Красные дни» и повесть «Кубанка с красным верхом».

Сама мемориальная доска, которую сегодня можно увидеть

на стене городского Дома культуры в Хадыженске, создана известным кубанским скульптором Владимиром Андреевичем Ждановым и членами его бригады: Владимиром Васильевичем Пищиком и Юрием Даудовичем Карашоком. В творческой копилке скульптора Жданова есть, кстати, и бюст В. И. Ленина, установленный перед ГДК Хадыженска, и памятник А С. Пушкину, открытый в прошлом году в самом центре города Краснодара.

Ряд предприятий и учреждений Хадыженска принимали самое активное участие в благородном деле увековечения памяти известного русского писателя А. Д. Знаменского. Среди них: городское казачье общество (в период руководства им Н. С. Мищенко), партийная организация КПРФ, администрация города Хадыженска, администрация Апшеронского района. А самыми первыми вложили свои деньги в это благородное дело жители Хадыженска В. К. Тюменцева, Л. С. Докучаева, Н. Г. Громова и многие другие.

Свою лепту внес и сам скульптор Жданов, причем не только как творец. Собранных денег хватило бы лишь на небольшую металлическую мемориальную доску, но, дорожа своим именем одного из известных скульпторов Кубани, Владимир Андреевич Жданов создал такую мемориальную доску, которая теперь является одним из интереснейших памятников культуры Хадыженска.

Е. ПЕТРИШИНА

О ЗНАМЕНСКОМ ИЗ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ

Такие люди, как Анатолий Дмитриевич Знаменский, должны оставаться с нами всегда, даже если их уже нет в живых. Если народ помнит свое прошлое, которое правдиво отражают в своих произведениях такие мастера слова, как он, то это значит, что у народа есть будущее!

Н. ПРИЗ, глава администрации города Краснодара (на открытии мемориальной доски А. Д. Знаменскому)

ИЗ ПОСЛЕДНИХ ПУБЛИКАЦИЙ

Анатолий Знаменский
НА ДУШЕ ТРЕВОЖНО /Тост за кубанское казачество/

— Господин атаман, товарищи по оружию, казаки!

Когда мы еще в восемьдесят девятом году собирались в скверике на улице Тельмана в Краснодаре — в кафе «Русский чай» (помните? больше и встретиться нам тогда негде было…), то ей — Богу — у меня в те самые первые годы нашего казачьего возрождения, как нам тогда мерещилось, оптимизма в душе было куда больше, чем сейчас.

Почему? Потому что Россия была в корчах родов… неизвестно чего, но мы все ждали рождения нового. И мы, интеллигенция, уже начали было тогда вылезать из мешка, до того завязанного под гузырь; и левую, и правую руки уже выпростали. И я, грешным делом, об одном, помню, думал: быстро все мы пойдем вперед — в том сомнений не было. А если сомневался в чем, так в том, сумеет ли казачество найти в самом себе и выдвинуть на передовую политики необходимых для того времени людей, необходимые кадры?..

И вдруг на следующий год словно бы по мановению руки (на самом-то деле — по велению времени) собирается грандиозный — таким он мне видится из сегодняшнего дня — Учредительный съезд Кубанской Рады. От его размаха, от энтузиазма его участников, от их несокрушимой веры в то, что возрождение казачества началось — и теперь уж его не остановить, не только я ахнул. Не только я, но вся ЭСЭСЭРИЯ! А она тогда еще была. Увидели все: вот они какие, кубанские казаки!

Потом я долго присматривался к нашему атаману… Уж больно ты, думаю, тихий. Уж прямо-таки, если, не дай Бог случится, для боевых действий непригоден. Но я ж все-таки писатель, не просто обыватель — разобрался, вижу: на данном этапе лучшего атамана-политика не найти. Мои земляки — донцы (я с Дона происхожу) — они там сменили уже около двух десятков атаманов. Что ни выберут — не то. Причем, что ни дальше, то хуже. Почему так? Наверное, сказалось то, что на Дону на хуторах как-то принято, что ли, «ваньку валять» — делать все наоборот. И голосовать тоже. И получилось почти как при голосовании за Ельцина…

С тех пор прошло лет шесть — семь. Можно кое-что подытожить. Можно смело сказать, что мы можем отнести на наш кубанский актив серьезные победы. Атаман наш на месте. Войско

крепнет. Общественное движение «Отечество» одержало победу на выборах, и мы радуемся приходу к управлению краем Николая Игнатовича Кондратенко — казака по роду — племени, по сознанию. Он недавно, между прочим, выступая на Совете Федерации, очень к месту напомнил байку из оперетты «Свадьба в Малиновке»: куда может привести гузырь. Неужели мы позволим сделать это?!

Ушки надо держать на макушке, и не только в вопросах культуры, идеологии. И чтобы не падать духом, предлагаю никогда не забывать о том, сколько уже нами пройдено. Но помнить и о том, сколько еще предстоит пройти. И что никому, кроме нас, пройти этого не дано. Нам одним это под силу! А потому мой тост — за атамана! За наше кубанское казачество!..

ВСЕ НЕ ТАК, РЕБЯТА (Сакральный взглял на эпоху, или Откровение от Иосифа у чистилища)

Святыни рухнули,
и вот я стал
Защитником
поруганных начал.

В. Шекспир «Гамлет».

Апостол Петр в белом облачном хитоне и легких ангельских доспехах исправно стоял, как и полагалось ему по библейской табели о рангах, у несоразмерно узких, рассчитанных лишь на

праведные души, врат Рая. И опытным взглядом бдительного вахтера досматривал за прибывающими из земной юдоли душами, алчущими справедливости и покоя.

Больше было таких, что еще на подлете догадывались покаянно, что грешная комплекция их (как физическая, так штатнодолжностная — из обкомов, банков и бирж, а также «совместных предприятий по ограблению госсектора») не оставляет никаких надежд на проход в узкие врата. Для них это до удивления зауженное пространство и в самом деле напоминало «игольное ушко» в точном соответствии с притчей Священного Писания, и они покорно, как ночные упыри, виражировали чуть левее, к демократическому чистилищу, где близ исходящей серным дымом провальной ямы в преисподнюю темнели два необъятно зевластых котла с булькающей кипящей смолой. Один — для православных мытарей и алкашей, другой поменьше и пожарче, для «богоизбранных» и космополитов; последние при жизни считали себя «элитой мира» и властителями дум читающего юношества, но в «игольное ушко» не могли попасть даже по протекции. Кипели в смоле на общих основаниях. И — что самое удивительное! — дымок от них исходил красно — коричневый…

Топливо тут отпускалось по потребности, по безналичному расчету, почти как при коммунизме; береза и таежное смолье, заготовленное впрок еще в ГУЛАГе, горели с яростным треском, как горит костер при хорошем ветре или на митинге «Мемориала». Но досматривать все — же приходилось, так как грешные души иной раз норовили выпрыгнуть из кипящей смолы и обратно вскочить в новую, леворадикальную номенклатуру («От

Лукавого»), и их следовало осаживать: талмудистов — крестным знамением и антисимизмом, православных — длинным сучковатым посохом, каким орудуют в потустороннем мире.

Святых же душ, загодя иссохших одухотворенностью настолько, чтобы сходу влететь в «игольное ушко» охраняемых врат, с течением времени становилось все меньше. Помнил апостол Петр

массовые шествия крестьянских теней через охраняемую им проходную в давние годы коллективизации и страшных, искусственно вызванных отцами демократии голодовок; приходили в Великую Войну герои и мученики тыла, много было сирых вдов и немощных старцев; а потом — с хрущевской бесовской «оттепели» и иконоборчества — ряды праведников стали таять, редеть, сократились до одиночек, живших до самой смерти на голую зарплату, а небесная дорога начала помалу сужаться, зарастать колючкой и чертополохом…

Но занятнее всего было наблюдать за душами тех земных забавников, которые, по правде говоря, не знали в точности куда определиться к грешникам или к праведным соискателям Господнего Рая?

Еще пролетая в околоземных пределах, на грани видимого и мыслимого, душа многогрешная то будто сознавала свое исконное предназначение страдать и верить, становилась воздушно — легкой, как высокие перистые облака на восходе летнего солнца, истинно широкой и чистой, как у непорочного ребенка, то вдруг переполнялась внутренним искушением греха, обжигалась памятью о прошлом, как о горячую сковородку, и тогда мгновенно цепенела, съеживалась в некую иррациональность, в комочек телесной грязи, даже неуловимую небесным компьютером атомную дрянь…

Апостол Петр жалел такую душу, но в силу небесного Устава и субъективной честности ничем не мог ей помочь.

Попадались и довольно сложные, трудноразрешимые анкетные характеристики, которые у нынешних земных грамотеев и толкователей именовались (определялись) как «непростые» — словом заведомо сатанинским и оттого непомерно лийким и ходким. (Пущено в оборот, кажется, было в самом начале псевдоперестройки одним меченым — пронырой в вожди вражеской партии — из Восточного Полушария, который еще при жизни был трижды проклят земляками и приговорен к вечному позору без возможности покаяться и снятия судимости…)

ОДИН ОСОБО затруднительный случай апостол Петр помнил еще с давних, доттепельных, времен, с самой середины проклятого Богом XX века. Эта душа — как, впрочем, и души

других божьих чад, принявших насильственную смерть, — на отдалении светилась ясностью рассеянной космической пыли и каким-то золотистым, радужным оперением, как душа праведника при подлете стала быстро сгущаться в грозовое облако, затем разлохматилась в подобие лагерного бушлата и, наконец, упала к ногам апостола обессиленной частицей запекшегося сердца с едва пульсирующей в недрах его полусвежей сукровицей. И было такое ощущение, что апостол внутренним зрением видит ее телесный облик на смертном одре и выражение страдания, даже болезненную гримасу у подкрылков носа и в углах сомкнутого рта под всемирно известными усами. Горбоносый этот облик как будто украшался покойничьим венчиком, возложенным на покат под высоким, хотя и изреженным к старости зачесом. А на венчике уведомляюще лохматились старославянской кириллицей надпись: «Отравлен — в силу придворного ритуала ближайшим окружением и досужими эскулапами в год его окончательного разрыва с Сатаной». Чьи руки и по какому промыслу наложили на лоб покойника сопроводительную фразу, понять было невозможно. Но по стилю трафаретки ясно было, что прилетела душа некоего властителя, имевшего в миру «придворное окружение».

— Ты… Сталин, что ли?.. — спросил апостол.

— От рождения я был просто Джугашвили, — тихо и покорно вздохнула душа. — Благочестивый мальчик из Закавказья. Это немаловажно.

— Люди говорили, что Джугашвили и Сталин — одно и то же, — как всякий паспортный столоначальник хмуро и неуступчиво заметил Петр.

— Люди, слушай, как всегда, ничего не понимают в жизни и даже в собственном положении. Они, как сказано в Писании, смотрят — и не видят, слушают — и не слышат. А между прочим, кацо, это огромная разница. Мальчик Джугашвили — это почти святой, очень доверчивый и очень благонамеренный отрок, годный разве что к обучению в духовной семинарии, и даже, допустим, в духовной академии. Ему очень хотелось, слушай, добра людям, поскольку в миру добра явно не хватало. С этого все началось: романтика молодости, поиск правды и чести, понимаешь.

— Из добрых намерений, словом, — усмехнулся апостол, знавший не понаслышке, чем кончаются добрые намерения.

— Разумеется, кацо. Это у святых отцов верно было подмечено: добрыми намерениями выстлана дорога вот сюда, — несколько осмелевшая душа показала в сторону дымившегося провала в преисподнюю.

— Мне интересно, как получилось само превращение, — задумчиво молвил апостол. — Тут возможны самые разные варианты…

— Дарагой! Тут надо знать марксистскую диалектику и простейший закон механики: «Всякое действие вызывает равное ему противодействие». А по еврейскому Талмуду: выколи соседу глаза, пока он не откусил тебе, кацо, башку. А если ты, скажем, стал секретарем ЦК и тебя хотят непременно укокошить, то ты — что?

— Наверное, стану обороняться? — с усмешкой предположил апостол.

— Видишь: у нас с тобой нет даже разногласий, кацо, — совсем освоилась в обстановке откровенности грешная душа Иосифа. — Можно даже открывать пленум. Но сначала Президиум ЦК.

— Но разве так уж все было однозначно?

— В том-то и дело, что непосвященному ничего этого не видно, — вздохнула душа Сталина. — Поэтому непосвященных легко обманывать, чем и пользуются продажные демократы и вся их якобы независимая пресса. Но можно кое-что проследить и за пределами моей биографии… Вот знаешь ли ты, святой отче, почему русский миллионер Савва Морозов ссужал немалые деньги большевикам на развитие революции? Ведь странно как-то: капиталист — и вдруг выделяет деньги, говоря языком Маркса, своим могильщикам?

— Это действительно забавно…

— Дело в том, что в его время Россия усиленно колонизовалась иностранным капиталом, по преимуществу еврейским. Русские фирмы и предприятия попросту гибли, удушались этими заезжими «доброжелателями», у которых паспорта были англо-франко — бельгийские и немецкие, а приемы грабителей. Россия задыхалась в щупальцах этого осьминога. Что и сейчас происходит один к одному. Тогда Савва поверил в пропаганду Горького, что спасение России — в ликвидации частной собственности. Верно? Ввести в империи общенародную или даже государственную собственность — можно ее назвать и коллективной — и пришлые кровососы сразу отсохнут как дохлые улитки. Савва как честный человек и патриот на это соглашался: «Пусть и мое погибнет в этом пожаре, зато Россия будет спасена от пут колонизации».

— А что? — благородно!

— Да, кацо, но чем дело-то кончилось? Приехал Савва в Женеву и вдруг обнаружил, что почти «все эти революционеры (а их — легион!) являются ближайшими родственниками заезжих

кровососов и, что самое главное, содержатся на его же денежки! А? И от Дома Ротшильда, правда, тоже перепадало, несмотря на дальность расстояния…

— Я бы, вероятно, покончил с собой, — поежился в своем хитоне апостол Петр.

— Савва застрелился, — сказал Сталин. И надолго замолчал.

— Гибнут, как всегда, лучшие люди… — вздохнул апостол.

— Именно. А почему? Потому что — туман. Тирания среды, когда тебе ежечасно, ежеминутно вдалбливается одна и та же мысль об освобождении рабочего класса… Но я, как пытливый человек, стал догадываться кое о чем раньше… Номенклатура, она ведь процветает чуть ли не с начала века! В низах шла ожесточенная борьба за социальную гармонию и христианское равенство, чернорабочие революции сидели «за правду» в Нарыме,

Курейке и в «Крестах», а верхи нежились в Цюрихе и Париже; открыли даже марксистский университет в Лондоне… Слушай, кацо, на чьи деньги?

— На деньги экспроприаторов?

— Нет. Два банка — Тифлисский и Азовский — мы с Камо экспроприировали позднее, в годы реакции, когда перестала поступать валюта из США и Бельгии, и партия оказалась на мели… Но все равно это были крохи… Остальное я разглядел во время гражданской войны! Тоже занятные дела творились, кацо. По-моему, прав будет ученый Шафаревич, который скажет, что «марксизм не ставит себе никаких других целей, кроме подготовки захвата власти, а строй, который в результате будет установлен, определится необходимостью эту власть удержать. А так как задачи разные, то и оба эти явления не имеют друг с другом ничего общего». Я понял тоже: «Учение Маркса — свет, а его воплощение в жизнь в условиях фракционной грызни — тьма».

Апостол усмехнулся коротко и этак вопросительно воздел бровь:

— Тут один пролетарий как-то продекламировал, следуя в Рай: «От Маркса до Маркузе — собаки выли в пузе…». Я не понял, о чем он?

— Я в этом слышу вопль миллионов, — сказал Сталин. — Но не о них, не об этих миллионах речь в данном случае. Речь — о лукавых поводырях, этих детях и внуках Карла Маркса, они после будут называться в быту Владленами и Марленами, но обратятся в пятую колонну… Взять хотя бы отцов… Помнишь, кацо, продразверстку? Это они придумали, а нам, «шестеркам», вменялось в долг — исполнять… Я в Царицыне собирал хлеб по

зернышку и, заметь, еще платил что-то мужикам, менял на хлеб иголки, нитки, ситец… А приехал в Москву — пусто. Как будто ничего и не было, расхватали со складов, словно «гуманитарную помощь»?! Гляжу: гребут гады под себя, приватизируют чужое, хоть бы что! Начал некоторым особо комиссаристым взяточникам и расхитителям руки обламывать, тут Лев Троцкий — как

коршун: «Сталин превышает власть!». Вот вам и зачатки позднейшей «фракционной» грызни.

— Но твои противники с пеной у рта доказывают, что действовали всегда гуманно, интеллигентно.

— Гуманно? Тогда скажите вы мне, куда подевались сразу после гражданской войны Сергеев — Артем, командарм Миронов, которого Ленин лично вызвал в Москву с предложением занять пост инспектора по делам казачества; комкор Думенко? Все они были противниками Троцкого. Главного «гуманиста».

— А говорили, что Артем погиб при испытании аэровагона.

— Да, вагон действительно, перевернулся на крутом повороте. Но… Вся поездная бригада осталась жива, один лишь Артем — мертв. Между тем после гибели Загорского Ленин рекомендовал на пост секретаря именно Сергеева — Артема, для чего и вызвал из Донбасса, но его дружно «прокатили» на выборах в горком и… потом вообще убрали. А еще скажи, пожалуйста, куда подевался крупнейший наш лидер, вожак Леонид Борисович Красин? А? Ведь он был правой рукой Ленина по части организации типографии, транспорта и даже экспроприации… Он был моим наставником. Но сразу же после революции его отослали в Лондон полпредом, потому что боялись конкурента. Мол, затесался в ЦК, понимаешь, русский человек, да еще дворянин!

— Это который умер от белокровия?

— Да. Диагноз более чем прозаический. Ведь совсем не обязательно травить ядом, можно отравить и лекарствами. Медленно… А что они делают потом с моим земляком Осташвили?

— Но это уже было после тебя. Откуда ты знаешь?

— Так я же бессмертен, как сама идея социальной справедливости, кацо, — молвил на полном серьезе Сталин. — Плохой был бы я вождь народов, если бы не знал все наперед. Убрав Ленина, они готовили полный развал России по типу горбачевской перестройки еще в конце двадцатых, ибо для этой цели революция ими и замышлялась на деньги из-за рубежа. И начали коллективизацию.

— Стоп, стоп! Коллективизация — твое же детище!

— Отнюдь. Я был против, я поддерживал Бухарина, Рыкова.

Но «левые» взяли меня в такой оборот, что я понял: рано еще противостоять. А идею подкинул как раз не я, а троцкист Преображенский с сонмом космополитов — леваков, сожравших, кстати, Дзержинского. Именно Феликс первым попал им на зуб, а я отскочил в сторону, кацо. Говорю, как перед Всевышним… Феликс, как председатель ВСНХ, первым раскусил их «линию на разгром деревни и крестьянства». Он не знал подоплеки их беспринципности и элементарной подлости и возмутился так, что прямо на заседании умер от разрыва сердца. Повторяю, он был честный, благородный человек, а не костолом, как его потом назовут…

— О нем я тоже наслышен много плохого…

— На нас, на большевиков, принято вешать всех дохлых собак. Но мы, как живые люди, страдали обыкновенным атавизмом «общечеловеческих пороков», не больше других. Разве была при нас всесветная коррупция? Продажа государственных ценностей и даже золотого запаса за рубеж? Не было.

— Положим — не было. А моря пролитой крови?

— Для вас это неприемлемо потому, что вы не следите за ходом дел там, внизу… Так сказать, на грешной земле. А надо бы! Организуйте хотя бы в порядке эксперимента Политбюро! Чтоб простым людям не надо было доходить до всего своим умом. Где же ваш промысел Божий?

— Божий промысел в испытании душ, — назидательно пояснил апостол Петр. — Ничего лучшего пока не придумано. Вот ты же прозрел, как я понимаю?

— Да. Говорю же — мне стало ясно еще с гражданской войны: все так называемые «межрайонцы», вломившиеся в партию лишь в канун революции 17–го года, все они, по сути дела, были «агентами влияния», как потом будет принято называть их, и с ними придется поступать так же.

— Только с «межрайонцами»?

— Другие тоже не подарок. Но то были заблудшие. Иногда просто в силу родственных связей. Помните историю с Молотовым, Бухариным? Да и Киров тоже подвергся обработке посредством женитьбы на… Эти бабенки библейского покроя хватали их и оплетали паутиной, как мух! Иногда именно бабье обеспечивало и партийную карьеру. Возьмите хоть остолопа Брежнева… Того же поля ягодка. Средний преподавателишко техникума, а как только женился на женщине из Клана, так и понесло по служебной лестнице. Да так, что ступеньки не успевал считать прохвост! В общем, шло очень быстрое накопление фактов, и с этим надо было бороться. Ибо от предательства не застрахован никто. Я здесь — не про Азефа и Малиновского, не

про штатных провокаторов. А этот милый интеллигентский либерализм? Вспомните-ка генерала Алексеева — близкого Николаю Второму человека, начальника штаба Русской армии. Предал своего государя и Родину. Бесплатно. Так сказать, из демократического прекраснодушия, почти как академик Сахаров… Или опять же этот, сменивший хвастуна Хрущева, Бровеносец. Он развалил партию и правительство «халатностью» и «непринятием мер», терпимостью ко взяточникам сознательно, так как это поощрялось окружением — то есть, опять-таки «агентами влияния», по подсказке из-за «бугра». А Меченый Бес? Этот только довершил дело: он вступил уже на «удобренную почву»… Их надо было с самого начала держать в страхе Божьем.

— И ты держал? Развязал столь страшную резню?

— Тут, слушай, имеет место, как среди людей, так и среди вас, служителей иного мира, серьезное не — до — понимание. Не я резал этих людей — тварей. Была взаимная резня, так как в карающих органах сидели в основном их люди, и вычистить их оттуда могло только время. Слышишь? Так вот: мне, скажем, надо было вычистить тысяч десять — двадцать голов из партии и верхов социальной пирамиды, преимущественного еврейского клана, хотя я — не антисемит, все знают. Просто это были люди из легиона козлоподобного Льва.

Но их люди в то же самое время, под шумок, растерзали не менее трех миллионов «русскоязычных» (то есть русских, украинцев, белорусов, казахов, татар и даже евреев!), но — «сталинцев». Тоже — как Врагов Народа!

— Но почему же вы не остановили ужаса этих «ежовых рукавиц»? — Петр не заметил, как перешел на «вы».

— Во — первых, я пытался. Исподволь и не разом. Потому что заграничным демократам нужна была большая кровь у нас, они считали, что это доконает Россию. Мне невольно приходилось действовать так, чтобы Заграница не сразу догадалась, кто здесь с кем борется. Скажем Иегуда, именуемый в миру Ягодой, казнил своих десятками. (По моей директиве). А по своей инициативе — сотнями. Заграница была довольна. За что я оторвал голову сначала Иегуде, а потом и Ежову. Как бы за недогляд. Он ведь тоже был под каблуком своей женушки. Еще та была «Юдифь».

— А нельзя ли было все же… обойтись без крови?

— Пытался. Частично это удалось перед войной. Отменили и пригасили так называемую «шпиономанию». Но в первые же месяцы боев оказалось: чуть ли не на каждом крупном железнодорожном узле сидел вражеский радист — корректировщик! Причем, весьма осведомленный. Понимаешь? Все из-за гнилого либерализма. За это и платили сданными

городами. Это во — первых. А во-вторых, еще не пришло время открыться, кацо. Никто не хочет понимать, что я работал в Кремле, находясь как бы в глубоком подполье… Однако высший смысл торжествовал: эти негодяи, творя геноцид и злодейство в стране, возвеличивали меня как величайшего злодея. И мне это было, кацо, на руку. Такая была обстановка. Во имя исполнения высшей идеи, ради которой я был призван провидением и Господом Богом…

— Искоренить в конце концов бесов?

— Да. Но мне это не совсем удалось. Подвела обычная сентиментальность, гнездившаяся во мне с юношеских лет…. Щадил, видишь ли, деток! Отцов гнал к черту в ГУЛАГ, а деток — щадил.

Как-никак — я же православный человек. Многие из осужденных прокантовались в конторах ГУЛАГа, а после подросли их детки, всякие Окуджавы. В конце концов им удалось вырастить целое поколение так называемых «шестидесятников» — растленное племя мелких буржуйчиков и тряпичников, спекулянтов, извращенцев и психопатов (читайте моего эмгэбышника Климова в зарубежной и нашей прессе!..), которые выродились окончательно в шпионов ЦРУ и предателей Родины. Здесь я более виновен, чем в пресловутых репрессиях 1937 года. Каюсь теперь — не довел дело до конца.

— Ты прав. В будущем все это подтвердится. К сожалению… — апостол Петр вздохнул печально.

— Честные люди могли это предвидеть. Если политические подонки делали свой «бизнес» на Марксе и его догме, то почему они не могли обратиться к альтернативе? Стоило тезису обветшать, стоило возобладать потребительским наклонностям в обществе, так они тотчас организовали новый «бизнес», теперь на антимарксизме! На Дюринге, Каутском, даже на Троцком, на бердяевщине… И полилась новая кровь. Поэтому и надо было их перевести, как саранчу, всех до одного. Но… Помешала моя смерть.

ДУША МУЧЕНИЧЕСКИ передернулась и как бы материализовалась. Апостол опять увидел человека на смертном одре и вновь отметил, что в лике усопшего не было покойничьей умиротворенности, обычной углубленности и погруженности в смерть. Знакомый профиль выражал не то чтобы озлобленность, но по крайней мере напряжение воли, вперемешку с гневом и нестерпимой болью. Это был весьма редкий случай: сама смерть не смогла расслабить лица, нечеловеческой собранности черт. Значит, оно было напряжено не внутренней волей, а каким-то препаратом, сильно действующим ядом.

«Тут и впрямь согласишься, что с укреплением социализма классовая борьба обостряется с новой силой…» — подумал апостол, отгоняя предшествующую неприязнь к Сталину.

А душа Сталина никуда не исчезла. В ожидании Высшего Суда, она сама подвела итог своей жизни в миру:

— …Как видишь, был я скромным юношей по фамилии Джугашвили, и был свят в грезах и чаяниях юности. Потом подвергся искушению либеральной литературы и бесовской пропаганды, много согрешил в прислуживании врагам России, Божьей страны, творил зло, как мелкая «шестерка» при вождях революции. И в этом — грешен! Но после, думаю, во многом искупил грехи, преуспел в отмщении этим извергам рода человеческого. И особенно — в том, что не дал им колонизовать и разграбить православную Россию еще в конце двадцатых годов…

«А вы и о православии пеклись?» — хотел было спросить апостол не без иронии, но воздержался. В памяти мелькнула одна подробность, маленький штришок из истории тех лет, о котором знали многие.

Это было 4 сентября 1943 года, когда в Кремле Сталин и Молотов встретились с духовными особами Православной Церкви — митрополитом Сергием из Ульяновска, митрополитами Алексием из Ленинграда и Николаем из Киева. Речь шла о нуждах возрождаемой Церкви. Во время той беседы были выработаны Устав Русской Церкви и те условия, на которых она существует до настоящего времени. После беседы Сталин взял очень старого митрополита Сергия под руку, осторожно, как настоящий иподьякон, свел его по лестнице вниз… И сказал на прощание: «Владыко! Это все, что я могу в настоящее время для вас сделать». И с этими словами простился с иерархом.

Апостол опустил свой взгляд на трепетавшую теперь перед ним грешную душу и сказал, размышляючи:

— Да, Иосиф. Все в этом мире, как говорится, не так просто… Не знаю, откровенно говоря, как с вами и быть. И для Райских врат вы будете несколько широки. И кинуть тебя в котел к этим грязным и мелким душам было бы… несправедливо.

— Да и я толком не знаю, — признался Сталин с выражением, как у того юного семинариста, смирения. — Не знаю. Иначе давно бы уже проник в Эдем по подложному паспорту, опыт у меня кое-какой был. Грехи не позволили еще раз согрешить…

— Напомним себе: есть и такой Закон, — утвердительно покачал головой апостол. — Когда добро отступит от человека или вообще от людей, то зло вступает в схватку со злом же и ослабляет его… Это хорошенько надо помнить всяким злыдням.

Иначе сами себя и высекут… Однако как же нам быть с тобой, Иосиф? — перешел апостол снова на «ты». — Вероятно, и в самом деле не обойтись без Суда Всевышнего. Он-то рассудит по справедливости.

— И верно! — оживилась душа, и у нее стали вырастать и расправляться крылья, посветлела и окружающая аура. — Махнука я в самом деле на прием к Самому! Он разберется!

Сказал — и, словно летающая тарелка, стремительно вознесся.

Через некоторое время к небесному подножию, на котором стоял апостол, приковыляла черно — белая в полоску свинья с человеческим курносым ликом, назвалась «отцом русской демократии» Хрущевым и попыталась заговорить о полной победе коммунизма в 1980 году. Апостол поморщился и ошарашил пришельца прямым вопросом: «Как ты, придворный лизоблюд и пустобрех, позволил себе оклеветать и съесть Георгия Маленкова?! Он был в сто раз умнее и честнее тебя! Или опять, как раньше, услужил Кагановичу?!» — и повелительно указал посохом на дымящийся серно демократический котел.

— Вот я скоро еще и Бровеносца к тебе направлю! — пообещал вслед Хрущеву апостол. — А потом ждите и Меченого Горби. «Благодетели»!

Когда начали поступать разочарованные «шестидесятники», апостол Петр с ними уже попросту не разговаривал, указывал посохом в леворадикальную сторону и напевал при этом куплеты Высоцкого, остроумного и во многом ошибавшегося барда — глашатая «шестидесятников»; он уже тогда как бы полемизировал с ними, с их бреднями:

Нет, ребята, все не так,
Все не так, ребята!..

«Казачьи вести». № 164. 1998 г.

СЛОВО И МЫСЛЬ В РЕЗЕРВАЦИИ, ИЛИ МОНОЛОГ В НАМОРДНИКЕ…

1.

Что такое, в сущности, — творчество?

Жизнь волнует, а иногда и потрясает каждого человека, в особенности если он формируется и претерпевает беды в «минуты жизни роковые», вроде великих российских смут 1917–1921 или 1991 — 1993 годов. Сюда же надо отнести и год 1930–й в деревне (раскулачивание), годы 1941–1942 (разгром наших армий, паническое или неорганизованное отступление до Сталинграда) или экономический обвал 1992 года с «диким рынком» по Гайдару и Явлинскому, с пресловутым «отпуском цен», направленным в основном на ограбление всего населения во имя создания «среднего класса» и «новых русских ловкачей» нерусского обличья…

Жизнь волнует всех поголовно, травмируя, а иногда и убивая наиболее слабых; многие стараются уклониться от ударов судьбы или тяжелых впечатлений и поскорее забыть о них, но есть специфическая категория граждан (впрочем, весьма немногочисленная), не только ревностно отбирающая в душу те или иные особенности, взлеты и несообразности бытия, но и старательно фиксирующая их на бумаге или холсте, причем с определенной фокусировкой. Это племя писателей, художников. Да добро бы для себя только, в дневнике или памятной какой-нибудь тетради, а то ведь стремятся все свое отношение к происходящему и даже к власть предержащим мира сего предать гласности, размножить типографским способом, выставить на всеобщее обозрение в виде книжной продукции. И даже — о, неразумные! — повлиять как-то на жизненные отношения, защитить слабого, урезонить жестокосердного, устыдить взяточника и т. д. И вот тут-то их ожидают почти непреодолимые препятствия, а то и опасности.

Читатель несведущий может подумать, что писателя «хватает и не пущает» официальная цензура, правительственный чиновник.

Но это далеко не так. (За 45 лет литературных мучений Азмногогрешный живого цензора ни разу в глаза не видал!) Писателя держит в когтях именно некое читательское мнение о жизни, которое принято считать «общественным» или

«спущенным сверху» и т. д. Кроме того, надо еще уточнить, что так называемое «общественное» мнение на поверку не является таковым в широком понимании слова. То, что думают в глубинке крестьяне (колхозники) или рабочий ЗИЛа, КамАЗа, рядовой русский учитель, врач, агроном, ровным счетом никого не интересует и не может входить в пресловутое «общественное мнение» даже как компонент. А формируют и паразитируют на нем не очень широкие, скорее — узкие круги московско — питерской «интеллектуальной» элиты, салоны сановных дам — жен членов Политбюро ЦК, от века изъясняющиеся на французско — нижегородском наречии. Это вполне космополитическая (многонациональная) среда, лишенная каких-либо корней в народе, а, следовательно, и национального самосознания, зато обуреваемая великой спесью всезнайства и великим тщеславием «богоизбранных» служителей культуры и морали — какой бы она ни была. В РАППе они ревностные хранители идей некоего «пролетарского искусства», хотя до сих пор никто не знает, что это такое; в Союзе писателей — «социалистического реализма» в его крайней, догматической форме, в «Апреле» (некой отпочковавшейся от СП секте «демократов — террористов») — сокрушения того же «соцреализма», которому они и их праотцы пели осанну более пятидесяти лет. У них — свои «патриархи» и «гении», хотя трудно было бы обосновать, скажем, почему какой-то «Ю. Олеша» или «В. Шкловский» являются таковыми.

Извиваются и модернизируются они, понятно, не только ради должностей и хлеба насущного, для них это — пожизненный престиж, возможность диктовать свои условия. И вырабатываемое ими «общественное мнение» как бы священно и неприкосновенно, как истина в последней инстанции или религиозный догмат. Взирайте, внемлите и трепещите! Ибо в данном случае предупреждение, само

по себе хотя и негласное, но неукоснительное: ослушник немедленно приговаривается, в основном «методом замалчивания», к духовной смерти. Если даже он и пробьется со своими произведениями на страницы изданий, скажем, в силу их неординарности, то сонм присяжных критиков, литературоЕдов, а за ними и преподавателей — филологов будет обходить его имя молчанием, как прокаженного, до конца дней. Если же у отверженного найдется сильный покровитель (как, скажем, у Шолохова в момент публикации 1–го и 3–го томов «Тихого Дона»), то из благороднейших либеральных кругов Москвы и Питера в темные массы будет брошена приторно — ядовитая байка о плагиате, то есть украденной рукописи… А это — как ведро мазута, отмыться трудненько. И, главное, виноватых-то

после не найдешь.

Постоянно разглагольствуя о каких-то либеральных миражах и доктринах, о «правах личности» и «отмене смертной казни» для убийц, насильников и похитителей детей, по — французски изысканно грассируя, эти люди буквально со сладострастием истязали и сживали со света десятки и сотни талантов, почему-либо не вписывающихся в их среду и их «регламент». Трагедия Сергея Есенина и его друзей — крестьянских поэтов (Клюева, Панина, Клычкова, Орешина) была не единственным актом их «возмездия», это был только эпизод в череде насилий и убийств. Михаила Булгакова обложили со всех сторон, как волка в облаве, не давали проявить себя ни в прозе, ни в драматургии, ни на службе в театре.

Стараясь вроде «приблизиться к народу», просвещенные деятели РАППа провозгласили лозунг «одемьянивания поэзии», под который никак не подходил самобытный и ершистый Павел Васильев. А чуть стал протестовать — тут же был оклеветан, посажен в тюрьму и расстрелян… Претендуя на высочайший интеллектуализм и, разумеется, на «гуманизм», эта литературная «хевра», с другой стороны, не приняла и интеллектуальной прозы Евг. Замятина, исключительно потому, что он был русский, стеснялся грассировать. И — обрекла на духовную смерть, выезд за границу.

При первых признаках травли в Москве юный автор «Донских рассказов» и «Лазоревой степи» Шолохов сбежал с молодой женой в родные края, в станицу Букановскую, в дом тестя — подальше от всевидящих очей богемы. Уезжая, будто бы сказал в сердцах: «Ну гады! Поеду писать такой романище, что после не угрызете!» Роман-то написал, но с публикацией сразу же возникли непреодолимые трудности: книгу еще при первой читке сочли «белогвардейской литературой» и швырнули в шкаф отвергнутых графоманских фолиантов на съедение мышам. И если бы не помощь А. Серафимовича (по 1–й книге) и лично В. И. Сталина (по 3–й), то читающая Россия никогда бы не имела «Тихого Дона»…

Смерть Маяковского (самоубийство) была настолько театрализованной, что за нею довольно отчетливо просматривался злодейский сценарий, повлекший за собою преступную и пошлую судебную возню «наследниц» за право творческого и денежного наследия поэта. Но ни пошлость, ни преступность действий и поступков многочисленных ходатаев Лили Брик никогда не отторгали их от всемогущего «культурного» клана Москвы и Питера; наоборот — повысили их престиж, авторитет и рейтинг. Они были — свои, зато «чужого»

Дмитрия Фурманова, единственного героя гражданской войны в их «революционной» среде и даже орденоносца, в два счета затравили на заседаниях РАППа и довели до инфаркта в 35 лет. Чистоту своих рядов эта публика сохраняла рьяно, истово.

Лишь иногда, в пору гигантских потрясений, когда всенародная беда ощутимо касалась и их благополучия, какой-нибудь признанный мэтр и блюститель литературной моды, вояжируя между Москвой и Ташкентом, вдруг снисходил до откровения:

Знаешь, Алеша, все-таки Родина — Не дом городской, где я празднично жил,

А эти проселки, что дедами пройдены,

С простыми крестами их русских могил…

Неплохо, как видите, сказано. Но — лишь до замирения на

фронте. К тому же такие признания в общем-то почти ничего не меняли во внутренних и внешних отношениях «клана» (богемы) с окружающей средой поднимающихся из народа талантов.

2.

Ты — еще не родился, а тебя уже ждут враги. Нет, не банальный Сальери, которого может и не быть, а хорошо организованная «банда поэтических рвачей и выжиг»…

До самой войны русская мысль бессильно клокотала и пенилась, как речная вода у бетонной плотины, и не могла пробиться к жаждущему сердцу читателя. Если учитывать всю массу издаваемой «пролетарской» макулатуры, то исключения были крайне редки: «Тихий Дон» Шолохова, некоторые рассказы Лавренева («Сорок первый»), «Страна Муравия» Твардовского, сильно подпорченные на сцене МХАТа народные эпизоды из пьесы «Любовь Яровая» Тренева, «Дни Турбиных» Булгакова, некоторые стихи Луговского и Павла Васильева — вот, пожалуй, и все.

Война, наряду с голой пропагандистской публицистикой и плакатом даже в литературе, вдруг открыла двери для задушевной песенной лирики Фатьянова и Исаковского, дала пищу и материал для гениального творения Твардовского «Василий Теркин». Вновь подтверждалась старинная поговорка, что «вода дырку найдет…». Народ вновь почувствовал себя народом, а не гонимым стадом. Но это мгновенно почувствовали в интеллигентных салонах Москвы и Питера, подключили Агитпроп и МГБ. Вслед за «делом» ленинградского партийного

секретаря Алексея Кузнецова («Русская партия в ВКП…») и его расстрелом, снова, в который раз, начали закручиваться идеологические гайки, опять «пошла писать губерния» в редакциях и издательствах. Стали вылавливать даже «маскирующихся» и «нейтральномыслящих», краем захватили и «своих» — Ахматову и Зощенко… Вот примерно в это время и вступило в литературу (то есть в борьбу и возню с призраками) поколение нас, нынешних «стариков».

…Молодому начинающему автору хочется, конечно, напечататься. Но корпеть над бумагой его заставляет все же другое чувство и желание: выразить свое личное отношение к жизни и свой взгляд на увиденное и услышанное, на те народные подвиги и страдания, которые потрясли его и запали в душу. Тут человек преодолевает и «сопротивление внутреннего редактора», и свое неумение, и нехватку зарплаты до конца месяца, и пытается все же высказать ТО, что по внешним условиям ВЫСКАЗАТЬ попросту НЕЛЬЗЯ. И — высказывает, если, конечно, сумеет. Высший тому образец — «Поднятая целина» М. А. Шолохова, где за внешней «партийностью» и «идеологической бесспорностью» показа коллективизации, как шило из мешка, торчит УМЕЛО ВПРАВЛЕННАЯ ТУДА правда события, трагедия раскулачивания, ужас нравственного произвола с той и другой стороны (сначала — убийство Хопровых, а потом — убийство Тимофея Дамаскова Макаром Нагульновым…) Для писателей — отдельно обращаю внимание: вдумайтесь в фамилии — Нагульнов и Дамасков. Первая идет от распутной бабы, «нагулявшей» плод, вторая — от Дамаскина, святого, которому за веру отрезали кисть руки, а она после усердных молитв — обратно приросла!

Но, по пословице «Что положено Юпитеру — не положено быку», тем более молодому неучу, юного сочинителя тут же, в точности, как бычка — двухлетку, вежливо взналыгивают и отводят в сторонку от уже найденной Гением литературной борозды: тут — ТАБУ, ищи сам…

Надо к тому же сказать, что юную душу творца почему-то обуревает глуповатая, но тем не менее пленительная химера: а ведь и редакторы, мол, видят жизнь живую точно так же, как и простые смертные, а поэтому им нет никакого резона думать иначе, чем Я! Поэтому даже из чисто нравственных соображений они сделают вид, что не заметили ничего такого в моей рукописи!

Всю жизнь будешь в этом разочаровываться, больно ушибаться и — продолжать тешить себя надеждой… В общем, все повторяется от века: надежды юношей питают…

3.

Не претендуя на упоминание в когорте выдающихся литературных имен, тем не менее расскажу о некоторых ярких подробностях собственной литературной биографии — хотя бы потому, что она литературная. Да и материалом литературы, как правило, является судьба рядового человека.

…Освободившись из лагеря в 1946 году и малость обустроившись с жильем и работой в управлении нефтеразведочного треста — рабочий поселок Вой — Вож, Коми АССР, — я уже через полгода начал большую повесть о героическом труде нефтяников Севера в период воины с фашистами, под названием «Далеко от фронта». Вышедший в 1948 году и нашумевший роман В. Ажаева «Далеко от Москвы» тут же заставил меня поискать новое название, и поскольку речь у меня шла о геологической разведке нефти, точно вылилось длиннющее, идеологически выверенное словосочетание «Неиссякаемый пласт». Но главного-то это не касалось, ибо скрытый «заквас» романа, который и мобилизовал мои творческие силенки и возможности, таился отнюдь не в плакатном героическом труде, а в некоторой особенности судеб моих героев — людей, оказавшихся почему-то в этот период в таежных бараках, на скудном пайке, под произволом не начальства, — нет! — а своего же ворья, вводящего своеобразный «подоходный налог» за «безмятежность сна» и «непропажу валенок и штанов…». Уже тогда просматривалась в жизни глобальная опасность полной «демократии» и «свободы личности»… Судьбы этих людей были изломаны чуть раньше, до войны, так называемыми «социальными бурями», «экономическими сдвигами» и «пятилетками», однако сказывались на их отношениях и теперь…

В 1949 году роман был закончен, переписан ровненьким каллиграфическим почерком в особой амбарной книге (только что не прошнурованной!) и отослан на консультацию в Ленинград, в Союз писателей. Как человек «общественный», а главное, молодой, я полагал, что какая — никакая литературная

консультация мне поможет в доведении рукописи до желаемой кондиции, а затем, может, и до издания книги. Чем черт не шутит!

Результат рецензирования превзошел все мои ожидания. Два писателя — Всеволод Кочетов и Эльмар Грин (свежий лауреат Сталинской премии) — единодушно одобрили рукопись, невзирая на ее «нетоварный» вид, а Кочетов свою рецензию начал с недвусмысленной фразы: «А. Знаменский написал замечательную

книгу».

Надо сказать, что обе эти рецензии были даны с большими авансами автору — провинциалу: в рукописи, кроме удачных зарисовок с натуры, было достаточно и «провальных» мест дешевой риторики, и растянутых описаний природы Севера, и морализаторства — напрямую, что не поощрялось даже в «эпоху бесконфликтности в литературе». Секрет же такой снисходительности, как мне теперь представляется, был объясним причинами прямо глобальными. Прошло всего три года после «погромного» постановления ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и “Ленинград”», весь аппарат областного Союза писателей перешерстили, а один из двух региональных журналов вообще закрыли. Новые руководители Союза писателей просто обязаны были искать и «воспитывать» новые кадры литературных талантов. А про то, что новоявленный автор «Неиссякаемого пласта» — бывший З/К, да еще по 58–й статье, то есть политический, там никто и подумать не мог, ибо в анкетке я указал только место работы, разумеется, по вольному найму. (Надо уточнить, что из лагеря в 1946 году я был освобожден «с прикреплением к производству», без права ухода с должности инженера по нормированию, что являлось по сути скрытой ссылкой, поселением навечно в Коми АССР. Но выезд в отпуск, к родным или даже к злачным курортам еще дозволялся… Я тут же испросил зимний отпуск и махнул в Ленинград, нимало не обеспокоясь тем, что вновь рисковал арестом и тюрьмой. Паспорт мой был выдан «согласно статье 39–й Положения о паспортах», а с такой пометкой в паспорте мне запрещалось появляться

не только в Москве и Ленинграде, но и во всех областных центрах страны, а также в Сочи и Ялте, где я мог «организовать теракт» в отношении какого-нибудь отдыхающего члена Политбюро… Но такую пометку могли обнаружить только в гостинице или в милиции, и я это понимал. Значит, на ночлег следовало определяться у знакомых, на частной квартире. И такая возможность для меня в тот момент нашлась.

Забота о молодых писателях к тому времени дошла до столь высокого уровня, что моя рукопись в городе на Неве к моему приезду была перепечатана на машинке в четырех экземплярах — бесплатно, как вещь, безусловно, перспективная.

Я взял первый, самый чистый экземпляр, полюбовался своей фамилией в машинописном виде и, воодушевленный сверх меры, направился к редактору «Звезды» В. П. Друзину. Валерий Павлович, партийный до мозга костей литкритик с седым проборчиком на лысеющей голове, выглядел празднично и приветливо. Портрета Сталина в его кабинете не было, осеняла

его голову борода Льва Толстого в рамке красного дерева. И выслушал он меня со вниманием, и голос его был по — отечески добр:

— «Неиссякаемый пласт»? Знаю, читал. Интересно. Но… печатать не будем.

— Как же это? — опешил я. — А рецензии? И перепечатали вот… в порядке помощи начинающим…

— Хорошо, что перепечатали. Но… понимаешь, в Ленинграде сейчас около пятисот писателей и склонных к литературе журналистов. Все они, понимаешь, хотят кушать. А журнал, после известного тебе постановления ЦК партии, — один. Мы их при всем желании не сможем пропустить на своих страницах даже в порядке живой очереди. За «варяга» из какой-то Коми республики с меня кожу снимут на партсобрании. Понял?

Понять-то я понял, но отступать не хотелось, и день спустя пошел за практическим разъяснением (а по сути с жалобой) к председателю Союза писателей А. Г. Дементьеву.

Это был очень умный, сановный господин в дорогом, отнюдь не пролетарском костюме, с золотыми запонками в белоснежных манжетах и — довольно странная фигура в послевоенном литературном хозяйстве страны. Вот он, после известного постановления ЦК ВКП(б) 1946 года о «мелкобуржуазных» и космополитических увлечениях в среде ленинградской интеллигенции, был вместе с В. П. Друзиным направлен на «оздоровление обстановки», стал председателем Союза писателей области. Вводил жесткий партийный контроль для образумливания заблудших ленинградских овечек и направления их творчества по единственно правильному идеологическому пути. Но — пройдет время, и в начале 70–х годов он тем же Центральным Комитетом партии будет переведен в Москву в качестве первого заместителя редактора журнала «Новый мир», в помощь А. Т. Твардовскому для… возможно более изощренной «демократизации» в среде писателей преимущественно космополитического толка. Не странно ли?

Но это — потом. А пока он сидел передо мною царственно за широким столом и лениво поигрывал холеными пальцами по столу, словно композитор по невидимой простым глазом клавиатуре. Я довольно горячо и немного сбивчиво пожаловался на редактора Друзина, не желающего работать с молодыми авторами.

— Дело-то очень простое, молодой человек! — сказал А. Г. Дементьев. — Сейчас у нас все стали службистами — карьеристами. И я, и Друзин, и ты — все мы отчасти этим прихварываем… Он эту твою рукопись просмотрел, конечно, и

задумался. Что он будет иметь от этой публикации: орден на борт пиджака или — выговор по партийной линии? И вышел у него, по логике рассуждения, — неизбежный, так сказать, выговорок — с. М — да!

В недостатке откровенности я его упрекнуть не мог.

— Но почему же?! — я тут, откровенно говоря, струхнул, боясь, что он откуда-то узнал о моей недавней биографии. Но оказалось, что дело было в другом.

— Гм, почему! Читал ли ты последний номер «Нью — Йорк тайме», официоза США?

— Н — нет… Я и по — английски не очень…

— А надо бы почитать. Эти презренные писаки — империалисты именно в последнем номере «Таймс» утверждают, болваны, что у нас в СССР практикуется с 30–х годов рабский труд! А? Дескать, в лагерях-то у нас люди совершенно бесплатно работают, за горбушку…

Тут А. Г. Дементьев презрительно усмехнулся (по отношению к западным писакам, разумеется), потом для разрядки закурил «Герцеговину Флор», и, выпустив дымок, резко, словно следователь на дознании, качнулся всем телом ко мне:

— А ты — что пишешь!?

А я, хоть и очень замаскированно, писал о том самом… И опять перепугался, теперь уже — за свой паспорт.

— Да они у меня вроде уже освободились… По вольному найму. Биографии, конечно, давят существенно, но — нефть Волховскому фронту дали в рекордные сроки…

— Понятно. Все мы умные тут, не хуже тебя. И даже поможем посильно. Мы немножко обтешем твою рукопись и отдельные куски дадим в «Ленинградский альманах», он выходит один раз в год. Дадим тебе «зеленый свет» в литературу, но — одновременно — и надерем уши! Согласен? Теперь найди редактора П. Далецкого и отдай ему рукопись, я с ним уже говорил о тебе. Лады? — И протянул на прощание большую, мягкую, почти отцовскую ладонь.

Мировой мужик! И в паспорт мой не заглянул. Как не порадоваться?

Уезжал домой я со сложными чувствами, уповая на время. И вдруг недели через две — три получаю письмо из Ленинграда, от секретаря секции прозы Г. Холопова, с которым я уже успел познакомиться и который мне почему-то симпатизировал.

«Дорогой Анатолий! — писал он. — С «Ленинградским альманахом» песня длинная, до конца года, да и неизвестно, какую часть они смогут взять. А вот тут приехал редактор журнала «На рубеже» А. И. Титов и криком кричит: дать хоть

какую-то прозу на 2–3

номера, нечего у них печатать. Журнал выходит в Петрозаводске, ежемесячник, репутация у него устойчивая. Можем предложить твою рукопись. Я советую тебе принять этот вариант. Телеграфируй согласие».

Еще бы! Я пошел на почту и отбил телеграмму: «Отдайте рукопись в Петрозаводск».

Далее все происходило буквально по часовому регламенту. В далекий, едва оттаявший от долгой зимы Вой — Вож прилетела телеграмма — вызов от редакции неведомого мне журнала «На рубеже», и вот я уже летел едва ли не на крыльях в купейном вагоне «Воркута — Москва» с двумя пересадками: в Вологде и на станции Волхов. Куда-то на северо — запад, к самому Ладожскому озеру и бывшему Беломорканалу. И близость эта как-то обнадеживала: все в одной стране живем!..

Здесь сложнее было с паспортом, знакомых обладателей жилья не было, но необходимые 1–2 ночи я надеялся скоротать на вокзальной скамейке, вроде пассажира — транзитника. Но риск был огромный: уже на вторую ночь меня бы засек милиционер…

Приняли меня хорошо — и редактор Алексей Титов, поэт (бывший дивизионный политработник, блокадник из Ленинграда), и председатель Союза писателей Антти Николаевич Тимонен, депутат Верховного Совета и член ЦК партии Карело — Финской ССР. Мягко пожурили меня за «бытовизм» и, не говоря худого слова, тут же положили передо мной на стол ножницы и дали пузырек с клеем: требовалось убрать все те куски, которые так смутили в Ленинграде В. П. Друзина и А. Г. Дементьева. А их было немало.

И я послушно и безропотно обкорнал собственную рукопись. При нынешнем общественном целомудрии это покажется едва ли не святотатством, но просил бы по — человечески учитывать и мое состояние:

1. Нагрудный карман мне прожигал злополучный паспорт с 39–й статьей о паспортизации, и надо было обернуться с пребыванием в «запрещенном» городе хотя бы в двое суток…

2. Важно было, по моему разумению, пройти первую журнальную публикацию, а в отдельной книге можно было еще восстановить наиболее дорогие для меня куски текста.

3. Такая «кастрированная» публикация была на первых порах для меня полезна по месту жительства в Коми АССР, в тресте, дабы не навлекать на себя режимных строгостей от местного отдела МГБ…

Пока я резал ножницами собственную рукопись, вклеивал какие-то невразумительные связки между главами, подошло

время обеда. И тут добродушнейший и маститый А. Н. Тимонен весело посмотрел на озабоченного редактора А. И. Титова и сказал вдруг с заметным финским акцентом:

— Слушай, Олеша, пойтем-ка пот сут.

Я опять насторожился. Зачем — под суд? Не намекает ли он на то, что рукопись моя чем-то напоминает «Нью — Йорк тайме»?

Но Титов почему-то улыбнулся в ответ:

— С удовольствием, Антти Николаевич, пора обедать и гостя заодно покормить. Только надо позвонить Виктору Чехову, пусть он подаст нам экипаж!

Скоро к подъезду двухэтажного деревянного особнячка, где мы находились, подкатила новенькая «Победа» цвета кофе с молоком, а за рулем сидел писатель В. Чехов, имевший уже личную машину и согласившийся с нами отправиться «под суд».

Через некоторое время выяснилось, что в одном из центральных зданий Петрозаводска располагались два совершенно различных заведения: на втором этаже — городской (областной) суд, а в нижнем — обычная столовая, в вечерние часы работающая как ресторан. И скоро мы сидели за столом, заказанным хозяевами на четыре персоны.

Когда уже стемнело и трапеза подходила к концу, все забеспокоились, что позабыли определить меня в гостиницу на ночь. Время для телефонных звонков было уже упущено. И тут добродушный редактор А. И. Титов успокоил присутствующих, а больше

всего меня, испытавшего опять немалое внутреннее напряжение:

— Не беда. Переспит ночь у меня на диване, слава Богу, квартира новая и нетесная.

Судьба вновь спасала меня от предъявления опасного паспорта гостиничному или милицейскому персоналу. А вырезанные места в рукописи я восстановил только через шесть лет в книге, вышедшей уже в канун моей реабилитации…

4.

Особенно ожесточенная борьба среди писателей и так называемых «группировок» с жизненными срывами — до самоубийства — началась во времена так называемой «оттепели», после доклада Никиты Хрущева на XX съезде КПСС. Какие-то цензурные створы были вроде открыты: стало можно, например, писать про незаконные аресты 1937 года, но почему-то нельзя было показывать жестокостей коллективизации, ибо в этом был

не заинтересован все тот же «гайдаровский» клан Москвы и Питера. Многие из них и их родственников были творцами идеи «ликвидации кулака как класса», были при этом то двадцатипятитысячниками, то начальниками политотделов МТС, тоже карательных органов в деревне. «Комиссары в пыльных шлемах» и их детки — очень обидчивые люди…

Непреодолимые трудности публикования испытывали и писатели — фронтовики, не избывшие в душах трагедии первых месяцев войны, неприкаянности «окруженства» и ужасов плена.

Литература в этот период как бы оживала в тисках и колючей проволоке запретов и с болью, с кровью старалась освободиться, обрести право голоса и сказать об Эпохе сокровенное слово Правды. В этом стремлении реализовалось ее высшее призвание в деле освобождения народа. Увы, слишком много находилось идеологических и литературных надсмотрщиков, так что всякий авторский «бросок» и «прорыв» через запретную черту цензуры получал огласку, а следом за тем и соответствующее внушение — от словесного порицания и угроз до более суровых мер воздействия, не исключающих и отлучения от печатного слова, то есть по сути запрета на профессию.

Мучились буквально все русские писатели, рисковавшие в своих произведениях показывать жизнь такой, какой она была. Довольно известный ныне прозаик П. вспоминает в автобиографическом очерке, помещенном в сборнике «Лауреаты России» (1987 г.):

«Если в «Знамени» с публикацией романа мне отказали по причине сгущения красок, якобы очернения жизни, то рецензент «Нового мира» достаточно понятно заявил, что в романе слишком много оптимизма, что необходимо переделать роман именно в этом направлении — углубить критический элемент и так далее; под мнимой требовательностью скрывалось совсем другое — во ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО ОТБИТЬ ОХОТУ обращаться в журнал «ПОСТОРОННЕМУ АВТОРУ». Одним словом, шла извечная ЛИТЕРАТУРНАЯ БОРЬБА, обусловленная и подогреваемая самыми неожиданными факторами, истинный смысл которой был глубоко скрыт, замаскирован, для большинства недоступен…».

По соображениям клановой неприязни иногда отвергались заведомо высокоталантливые вещи, литературные шедевры. Так, к примеру, получилось с повестью В. Астафьева «Кража», на мой взгляд, вершиной в его творчестве тех лет. С нею он в течение 1963–1965 гг., обошел чуть ли не все московские «толстые» журналы, включая и либеральный «Новый мир», и получил отказ. Высоколобие рецензентов не позволяло сомневаться в том, что они знают более высокую тайну Эпохи, чем приехавший на

Высшие литературные курсы откуда-то с Урала Астафьев. И только войдя в ранг признанного мастера, под крышей правления Союза писателей, большого собственного авторитета, он смог напечатать повесть в заведомо провинциальном журнале «Сибирские огни» в конце

1966 года, а отдельной книгой вслед за тем удалось пробить ее только в 1968 году.

Эпохальную в известном смысле повесть В. Белова «Привычное дело» также не принял к изданию ни один журнал в Москве, и после долгих мытарств, с существенными купюрами, ему удалось напечатать ее в Петрозаводске, в журнале «Север» (бывший «На рубеже»). Такая же судьба постигла и его прекрасный роман «Кануны», в котором по сути никакого идеологического криминала не было, просто с большим художественным мастерством воссоздавалась картина крестьянской доколхозной жизни в вологодской деревне, то есть допускалось «воспевание исконно — патриархальных устоев Руси…», — а это тоже не нравилось интеллигентной публике.

Большие мастера так или иначе, со сбоями, но находили пути к читателю и утверждались в литературе, то обходя стороной негостеприимные столичные редакции, проникая между тем в периферийные, то меняя жанры (как В. Белов в «Вологодских бухтинах»), то прибегая к шолоховской «многослойности» текста, когда за первым, видимым планом повествования скрывался второй, видимый только посвященным, а то и третий, называемый обычно «подтекстом».

Но не всем это удавалось, и зачастую судьба писателя приобретала трагические черты. Показательной в этом смысле была жизнь внешне удачливого В. Шукшина, да и многих других.

Константин Воробьев, талантливый и честный писатель, фронтовик, буквально пошел на литературную амбразуру, желая воссоздать правдивую (и больную для него) картину первых недель и месяцев войны, горечь наших военных неудач из-за бестолочи в штабах и даже в ГКО, неоправданной гибели многих его товарищей, сверстников. Эта его повесть («Убиты под Москвой») в 1960–1961 гг. обошла многие редакции, побывала во многих руках

— и везде была отвергнута начисто как вещь попросту негативная. Однако в 1963 году А. Т. Твардовский рискнул дать ее в февральском номере «Нового мира», поскольку незадолго до этого «с высочайшего разрешения» опубликовал еще более острую повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

Увы, критика тут же приняла повесть К. Воробьева как клевету на Советскую Армию, как «искажение правды о войне».

И вершила суд над этой повестью долго и с удовольствием — как пишет в своих мемуарах жена писателя В. Воробьева. «Хула Г. Бровмана (литавторитета тех лет) оказалась роковой: имя К. Воробьева было записано в список тех авторов, кого не велено упоминать в прессе, кому СУЖДЕНО ПЕРЕЖИТЬ ПОГРЕБЕНИЕ СВОЕГО ИМЕНИ ПРИ ЖИЗНИ». «Но, — пишет она, — это рождало и силу сопротивления, обостренное чувство неприятия подлых средств игры и жгучее желание не сдаваться».

На публикацию повести К. Воробьева «Друг мой Момич» (о жестокостях коллективизации и непоправимости человеческих потерь) в 1965 году был заключен договор в «Новом мире», но уже весной 1966–го там же, на редсовете, повесть разгромили до основания за… попытку сказать новое слово о коллективизации как о «пришествии Антихриста». Публикация, естественно, не состоялась.

Ввиду небольшого объема этой вещи писатель включил повесть в сборник своих произведений, принятый к печати в издательстве «Советская Россия». Там ее как бы не заметили и сдали рукопись в типографию. Но идеологический догляд был, видимо, двойной и тройной, так что типографский набор был перехвачен и рассыпан, а редактор книги И. Н. Фомина получила строгий выговор от начальства. К. Воробьев писал ей в то время:

«Пожалуйста, напишите мне подробно, что произошло с книгой… Дело в том, что я не могу представить себе дальнейшую свою судьбу как писателя. Я похож на человека, бегущего под уклон с ножом в спине».

И такое ощущение осталось у него надолго. Чувство тревоги не давало ему покоя, он становился раздражительным, терял силы.

Повесть «…И всему роду твоему» оказалась незаконченной, как и другая его вещь — «Это мы, Господи!..», опубликованная уже посмертно: писатель умер в возрасте 56 лет, надорвав сердце и мозг в неравной борьбе…

Он очень любил поэзию Есенина и однажды сказал о нем

так: «Ведь этот деревенский мальчик сердцем понял то, чего не смогло сделать скопище ученых, писателей и поэтов, и он восстал против грядущей дьявольщины и послал их всех к чертовой матери. Молодец!»

5.

Мне кажется, было бы совершенной ошибкой объяснять зажим талантов и всякой живой мысли в публицистике и

литературе только соперничеством дарований: слишком наглядна была некая высшая воля, царящая над служителями муз и почти безропотной массой читателей.

К подобной мысли и подобной «раскладке сил» пришел еще в 70–е годы, не дожидаясь сегодняшнего развала, молодой тогда еще автор Владимир Максимов. Он открыто заявил об этом в своем письме в правление Союза писателей, что было равносильно обращению в КГБ или напрямую в Политбюро ЦК. Он писал:

«Мне не в чем оправдываться перед вами и не о чем сожалеть. Я, сын и внук потомственных пролетариев, сам вышедший из рабочей среды, написал книгу о драматическом финале дела, за которое отдали жизнь мой отец, мой дед и большая часть двух восходящих ко мне фамилий. Эта книга для меня — результат многолетних раздумий над удручающими и уже необратимыми явлениями современности и горчайшего личного опыта.

…Где истоки всего этого, в чем первопричина такого положения вещей? Мне трудно судить, КТО И ПОЧЕМУ ЗАИНТЕРЕСОВАН в том, чтобы загнать болезнь глубоко вовнутрь, но в плачевном исходе такого рода лечения я и не сомневаюсь: последствия не поддаются учету, бедствия — исчислению. Если наше общество не осознает этого сегодня, завтра будет поздно».

И еще, по частности:

«Союз писателей, а в особенности его Московское отделение, постепенно становится безраздельной вотчиной мелких политических мародеров, разъездных литературных торгашей, всех

этих медниковых, пиляров, евтушенок — мелких бесов духовного паразитизма».

А поскольку дело происходило в 70–е годы, была еще у В. Максимова и надежда:

«В конце пути меня согревает уверенность, что на необъятных просторах страны, у новейших электросветильников, керосиновых ламп и коптилок сидят мальчишки, идущие вслед за нами. Сидят, наморща сократовские лбы… И они НЕ ПОЗВОЛЯТ похоронить свое государство, сколько бы ни старались преуспеть в этом духовные гробовщики всех мастей и оттенков».

По сути писатель боролся до самопожертвования за… УЛУЧШЕНИЕ существующего строя, социализма. А вожди, руководящие ходом дел в государстве, — что, не поняли его, что ли? Или… кто-то им запретил понимать его?

Уход В. Максимова из жизни в 1994 году (после расстрела «Белого дома» в Москве и большого кровопролития) объясним в значительной мере тем, что не только ему, но и многим честным

людям тогда показалось, что похороны Отечества уже состоялись. По первому разряду. И все тайное, кстати, стало явным, о чем догадался даже и такой в недавнем прошлом «недогадливый» киносценарист и режиссер, как Ст. Говорухин.

6.

Простодушный читатель может задать недоуменный вопрос: «Зачем же писатели почти добровольно претерпевают такие мучения, почему они бьются головой об стенку, на что нормальный человек вроде бы не должен идти? Почему бы в таком случае не сменить профессию?»

Но, во — первых, подобные же трудности и огорчения испытывают все люди творческого склада — изобретатели, научные работники, даже некоторые чиновники, борющиеся с рутиной… А вообще-то человеку свойственно желание преодолевать сопротивление материала, и он, как бы попутно, хочет преодолеть

сопротивление среды. Кузнец, искусник, творящий у горна художественную ковань, сто потов прольет ради какой-то особой завитушки в общем узоре ради того, чтобы выразить свое представление о чем-то высоком в избранном деле. В бою же люди иной раз идут и на смертельный подвиг. Да и вообще, чего ради пошел на костер протопоп Аввакум?..

Одним словом, дятел стучит на сосне, потому что он дятел; был бы вороной — питался бы падалью. Человек сопротивляется злу и косности (даже организованной), пока он человек, до последних сил.

Кроме того, творческий импульс бывает столь всеобъемлющим, по сути непреодолимым, что сама тема работы ощущается уже как наваждение. От нее не уйдешь.

Как это происходит?

Я как литератор, например, никогда не думал писать о революции и гражданской войне, довольствуясь более доступными мне темами многоликой и волнующей меня современности. Как всякий человек поверхностного знания, я не хотел почему-то выходить за пределы того, что давалось по истории нашего лихолетья на школьной скамье и общедоступной советской классикой. Да и что другое можно было сказать читателю «в рамках соцреализма» после «Чапаева», «Железного потока», «Разгрома» и бестселлера моих отроческих лет — «Как закалялась сталь»? Я знал, правда, что за пределами этих книг почему-то осталась больная для меня тема несправедливого

отношения властей к казакам, коими по происхождению были мои отец и мать, о чем, в частности, рассказывалось в «Тихом Доне». Но и на этот счет существовала доходчивая агитпроповская версия: большинство казаков, мол, были защитниками царизма, в период революции оказались в рядах белогвардейщины, а поэтому и подвергались всякого рода «усмирениям» и «притеснениям». Все объяснимо и почти бесспорно, а то, что мой отец ни дня не был в белых, не имеет значения — он зато был сыном станичного атамана…

И вдруг мне попала в руки изданная в 1966 году небольшая книжка — исповедь уже довольно известного писателя Ю. Трифонова «Отблеск костра», и в ней я вычитал нечто такое, что перевернуло мне душу.

Оказалось, во — первых, что донское казачество в основной своей массе в 1918 году пошло за Советами (из-за чего и застрелился атаман Каледин…), а во — вторых, отход многих казаков от политики и последовавшее затем восстание их в районе станиц Еланской, Вешенской и Казанской (все — мои родные места!) были вызваны не только зверствами продотрядов, но прямо-таки и грубо инспирированы Реввоенсоветом Республики во главе с Л. Д. Троцким, полагавшим, что «красного казачества вообще быть не должно», это противоречит «его идеям» и т. д. В книжке приводилось паническое письмо отца писателя, видного большевика В. А. Трифонова работнику ЦК партии Арону Сольцу в июле 1919 года: «Прочитай мое заявление в ЦК партии и скажи свое мнение: стоит ли его передать Ленину? Если стоит, то устрой так, чтобы оно попало к нему. На юге творились и творятся величайшие безобразия и преступления, о которых нужно во все горло кричать на площадях. При нравах, которые здесь усвоены, мы войны никогда не кончим, а сами очень быстро скончаемся — от истощения. Южный фронт — это детище Троцкого и является плотью от плоти этого бездарнейшего организатора. В руках этих идиотов (по — видимому, Троцкого и членов Донбюро РКП(б), — А. З.) находится судьба величайшей революции — есть от чего сойти с ума».

Тут даже и не писатель, по — моему, должен был взяться за перо. Потому что о важнейших событиях нашей недавней истории, формировавших, кстати, нас и нашу мораль, оказывается, ничего не знали даже МЫ — люди культуры, учителя, врачи, преподаватели вузов, не говоря уже о полуграмотных «массах», либо вообще ничему не верящих, либо принимающих за чистую монету очередное вранье Агитпропа…

Как-то по — новому я взглянул и на тот факт, что в самой

партии шла непрестанная борьба между левоэкстремистским течением, сторонниками «перманентной революции», и — прагматиками, государственниками, несмотря на Хаос и Анархию, сохранившими Россию (СССР) в прежних границах и пытавшимися по крайней мере как-то реализовать выдвинутые временем лозунги социальной справедливости в практике так называемого «социалистического строительства». Совсем не случайным был, оказывается, полуанекдотический эпизод из кинофильма «Чапаев», когда один хитрющий мужичок из уральской деревни вдруг задал на сходе знаменитому начдиву неожиданный «вопрос на засыпку»: «Василий Иванович, вот тут мужики сумневаются, ты — за большевиков аль за коммунистов???».

Как писателю мне впору было проклинать себя за крайнее «нелюбопытство» и то пренебрежение, с которым я относился к событиям революции и гражданской войны до самого последнего момента. В 1958 году умер мой отец, своими глазами видевший все, находившийся даже в самом центре событий того времени…

Да, «пепел Клааса жег мое сердце», и события 1917–1921 годов обступили меня со всех сторон — как судьбоносные для всего народа, для моей семьи и меня лично.

Надо сказать, что мне сразу же повезло в сборе материалов. Живы оказались еще участники тех событий в Волгограде, Ростове и Ленинграде, добившиеся реабилитации бывшего командарма-2, первого инспектора кавалерии РККА Ф. К. Миронова, главного борца с «расказачиванием» на Дону. Документы — до 300 единиц, приложенные к его реабилитационному делу, среди которых обнаружилась и пресловутая «Директива Оргбюро РКП(б) о расказачивании России» за подписью Свердлова, тоже оказались у меня в руках. Но при всем этом было хорошо известно, что на всю эту богатую «тематику» в верхах был наложен запрет. Когда в 1960 году реабилитировали Миронова, то секретарь ЦК по идеологии Ильичев будто бы сказал на специальном совещании: «То, что реабилитировали видного героя гражданской войны, —

хорошо. Но — пожалуйста! — никакой популяризации событий, никакого «копания в грязном белье»! Нечего поднимать старые проблемы!». Тут была заключена великая ложь: упомянутые проблемы не могли «постареть», они еще более обострились!

Помимо ряда ветеранов, я в 1975 году встретился с младшим сыном писателя А. С. Серафимовича, Игорем Александровичем, так как Миронов был близок к его отцу, да и сам писатель должен был занимать определенное место в романе как собкор «Правды»

тех лет, активный противник троцкистских подходов к казачеству. И вот когда я стал расспрашивать его об отношениях его отца с писателем Ф. Д. Крюковым, дореволюционным приятелем, но отошедшим после к белому движению, Игорь Александрович усмехнулся:

— А вам зачем — ЭТО?

— Он тоже должен войти в роман как антипод Миронова, сознательный противник большевизма, хотя в молодости они были друзьями. Очень интересная фигура, демократ, близкий к В. Г. Короленко, и вдруг — не просто белогвардеец, а идеолог этого движения на Дону! Это ведь страшно важно для понимания эпохи, провальной глубины проблем!

— Вы, значит, намереваетесь, сударь, одним лбом пробить сразу две стены? Тема Миронова ведь пока закрыта, но и тема Крюкова — тоже! Тут хотя бы одну… как-нибудь… — Игорь Александрович, как и его отец, был сторонником «пробивания стен», но сомневался в результатах.

Я сказал, что пока пишу роман «в стол», не для публикации, но в твердой надежде, что рано или поздно сама жизнь России и русского общества потребует именно таких откровений, которые ныне грубо запрещаются или затушевываются незаметно. Понадобится и мой роман.

— Н — да… В таком случае желаю успеха, — сказал Игорь Александрович. И подарил мне одну из книг отца с очерками о гражданской войне.

К 1977 году я подошел к завершению второго тома романа с ничего не значащим названием «Золотое оружие Республики» и на фоне общественных мероприятий в связи с приближающейся 60–й годовщиной Октября решил прозондировать возможность публикации хотя бы первого, экспозиционного тома романа, в котором еще только назревали проблемы февраля 1919 года, то есть расказачивания и вешенского восстания казаков. Что касается начальных глав этого тома, то они с преизбытком были насыщены революционной эйфорией того периода, когда от революционных призывов и вседозволенности лезли на стену не только темные солдатско — пролетарские массы, но и сама буржуазия и даже отдельные члены императорской фамилии… Никаких натяжек я тут не допустил, но «спекулятивный элемент» возник сам по себе, и я возлагал на него кое — какие надежды. А поскольку казачий вопрос — это тот же крестьянский вопрос в обостренной форме, то было уместно предложить рукопись в редакцию журнала «Наш современник».

Редактор С. В. Викулов, учившийся со мною на Высших литературных курсах в 1959–1960 годах, был за публикацию,

некоторые члены редколлегии — тоже. Но поскольку активными персонажами романа кроме Ф. К. Миронова и Ф. Д. Крюкова были канонизированные фигуры Ленина, Дзержинского, Орджоникидзе, а также Троцкого и Свердлова, то для опубликования требовалась обязательная виза ИМЛ — Института Маркса — Ленина. И тут, как и следовало ожидать, возникла пробуксовка с задним ходом.

Пробный номер у нас не прошел, да и не мог пройти. Говорят, что отделом документов по гражданской войне в ИМЛ заведовал Андрей Свердлов, сын бывшего председателя ВЦИК и автора «Директивы»…

Два года спустя в издательстве «Современник» стали работать знакомые мне люди, вроде бы заинтересованные в публикации моего романа, да и в ЦК КПСС давно не было секретаря по идеологии Л. Ильичева. И я рискнул предложить им для издания

снова первую книгу романа. Увы, литнадсмотрщики и там оказались. Вскоре я получил официальный и довольно неутешительный для меня ответ:

«№ 489 16 февраля 1980 г.

Редакция русской советской прозы внимательно познакомилась с Вашим произведением. По поручению издательства Ваш роман читал рецензент (зам. главного редактора) П. Карелин.

Издательство и рецензент пришли к выводу: поскольку первая книга романа не имеет самостоятельного значения и какой-либо сюжетной завершенности, печатать ее отдельно, без второй книги, нецелесообразно. Рукопись Вам с рецензией П. Карелина возвращаем».

И соответственно — две подписи: и. о. заведующего редакцией и ст. редактора. Здесь нельзя было не обратить внимания на то, что формулировка отказа была будто бы скопирована с формулировки ИМЛ и что двери к изданию этой моей книги пока прочно закрыты.

Но «пепел Клааса» жег авторское сердце, да и надо было как-то «застолбить» больную для меня тему хотя бы в местной печати. Я стал давать сугубо военные, лишенные политического окраса и какой-либо идеологической глубины эпизоды в местном альманахе «Кубань», где сам был одним из членов редколлегии.

Первая публикация состоялась в 12–м номере за 1978 год, далее пошли большие фрагменты по пять — шесть печатных листов в год под сменными названиями: «Быть человеком» (пролог романа), «Первые красногвардейцы», «Красные и белые», «На дорогах гражданской» и т. д., и т. п.

Я-то давал пока, повторяю, те отрывки, где совершенно не затрагивалась тема расказачивания и политического

размежевания внутри РКП(б), но тема эта занимала, разумеется, не одного писателя России и как-то просочилась снова в романе Ю. Трифонова «Старик», напечатанном в журнале «Дружба народов», где под фамилией Мигулина фигурировал снова непокорный командарм Миронов, а рядом с ним — полусумасшедшие неврастеники из Донбюро РКП — правда, тоже с подставными фамилиями.

Осенью 1980 года, отдыхая в Переделкино, под Москвой, я случайно оказался за одним обеденным столом с четой Трифоновых, которые оказались там случайно, у приятелей. Люди эти были, мягко говоря, из другого круга, чем я, и вряд ли вступили бы в какие-либо доверительные разговоры, да еще с первой встречи, но, кроме общей творческой темы о романе «Старик», я предложил еще и своеобразные верительные грамоты — две уникальные фотографии Ф. К. Миронова (1914 и 1919 годов), которых, как оказалось, у Трифоновых не было.

Но ничего утешительного в части возможных публикаций в Москве он сказать не мог. Наоборот, когда я посетовал на все эти сложности, повлекшие, мол, за собою перемены фамилий известных деятелей Донбюро и сдвиги во времени в романе «Старик», Трифонов усмехнулся не без грустинки:

— А вы-то как об этом собираетесь писать?

— Обыкновенной хроникой. Даже с приложением некоторых важных документов, — сказал я.

— И… когда же думаете публиковаться?

— Да хоть через 50 лет после моей смерти. Вероятно, и тогда эти подробности будут людям интересны и даже необходимы для жизненной ориентации…

Трифонов задумался надолго, потом тяжело вздохнул и сказал с безнадежностью:

— К сожалению, мой друг, вся эта тема с сопутствующими подробностями в верхах ЦК… не будет открыта и через 50 лет. Это — вопросы мировой политики.

Фотографии Трифоновым я, конечно, подарил: у меня они были размножены. На крылечке старого корпуса Переделкино мы тепло распрощались с обещанием обменяться собственными книгами (уже изданными) по почте — тогда это ничего не стоило.

Возвратившись в середине сентября домой, я тут же запечатал только что вышедший у меня в «Советской России» однотомник

повестей и рассказов «Завещанная река» (между прочим, в престижной серии «Русская и советская классика») и отослал в Москву.

С ответом Юрий Валентинович почему-то задерживался, я

напомнил о себе поздравительной открыткой к 7 ноября и получил такое письмо:

«Милый Анатолий Дмитриевич!

Вашу книгу я получил своевременно, в конце сентября, и большое Вам за нее спасибо! Историческую повесть я уже прочел, по-моему — интересно и густо, т. е. содержательно.

Не успев Вам ответить, я уехал в октябре в Пицунду, а после праздников я заболел тяжелым гриппом, думали — воспаление легких. Вот сейчас оклемался — и отвечаю.

Ваши домыслы о наговорах (возможных) — чепуха, но есть еще одна причина моей задержки. Ведь я обещал Вам послать «Старика», а как хватился — книг — то уже и нет! Но сейчас выходит в «Сов. писателе» новое издание — вместе с «Другой жизнью» — верстку подписал давно, книга выйдет в январе, ее я Вам и пошлю. Не сердитесь!

За фотографии много благодарю! Одну окантовал и повесил в кабинете.

Но особенно поразительная — со Смилгой, со свечкой. Откуда Вы их раздобычи?

Привет Вам и еще раз спасибо!

26. XI. 80. Москва Юрий Трифонов».

Письмо как будто даже не имеет отношения к теме моей статьи, но… привести его следовало по той причине, что оно имеет прямое отношение к нашим судьбам, к нашим метаниям и ожиданиям, к нашей нелегкой и, кажется, в чем-то опасной работе. А все дело в том, что в начале 1981 года Ю. В. Трифонова пригласили на «небольшое обследование» в клинику, затем положили на «небольшую операцию», и он скончался на операционном столе. В 56 лет, с виду совершенно здоровый человек, переживающий «другую жизнь» с молодой женой.

Да. Ждали мы с женой в январе, потом в феврале 1981 года желанной бандероли из Москвы, а дождались «Литературной газеты» в марте, кажется, с траурными полосами — обрамлениями: безвременно ушел из жизни видный писатель Ю. В. Трифонов, кумир московской интеллигенции, но… к тому же и первооткрыватель запретных тем в литературе…

И я, грешник, подумал, что не все чисто в этом мире и что не случайны все эти совпадения: огромный успех «Старика», масса разговоров о подробностях гражданской войны, намеки на какую-то «Директиву»… Не захватил ли как-то краем писателя давний «отблеск костра»?..

И на память пришли некрасовские строки: «Братья писатели!

В вашей судьбе что-то лежит роковое!..».

7.

К 1982 году уже более двух третей своего романа я опубликовал частями в альманахе «Кубань», в местных газетах, а также в «Новороссийском рабочем». Тема, таким образом, была основательно «застолблена» на будущее, к ней в крае привыкли, даже начальство понукало к продолжению публикаций, не зная о содержании тех глав, которые мною пока задерживались, и ожидая, вероятно, заполучить в конце концов что-нибудь вроде «Кочубея» или «Чапаева»… Можно было бы попытаться издать роман полностью в Краснодаре. Но… как избежать консультаций в ИМЛ и его филиалах?

И тогда я обдумал некий стратегический план публикации в обход всевидящего ока тех, кому роман и сама тема его становятся поперек горла…

Издательство «Молодая гвардия» проводило перманентно продлеваемый литконКурс имени Николая Островского. Секретарем конкурсной комиссии был симпатизирующий мне редактор Дмитрий З., которому я привез на конкурс первый том (опять — «первый»!), предусмотрительно сменив название на «Красные дни»,

чтобы не запеленговали литстукачи от ИМЯ и не заблокировали вторично. Дмитрия З. я просил дать роман на авторитетное рецензирование, а на премии (возможные) или для издания не продвигать. Мне нужны рецензии, московские желательно — с грифами издательства «Молодая гвардия», и только.

Но ожидал и меня опасный жизненный поворот. Видимо, от длительного творческого перенапряжения я в октябре 1982 года перенес тяжелый инфаркт. Сказалась и длительная травля местных графоманов, поощряемая известной агентурой из крайкома КПСС. Дело в этом смысле дошло до того, что многоуважаемое бюро писательской организации, пользуясь моей болезнью, никак не отметило в печати мое 60–летие в 1983 году, а заготовленные в бюро пропаганды художественной литературы юбилейные буклеты «А. Знаменскому — 60» оказались не разосланными по издательствам и организациям и… лежат кипой у меня до сих пор… Таковы нравы и такова, как говорится, жизнь «известного писателя».

Так или иначе, но выздоровление мое сильно затянулось, преследовали гипертонические кризы, и только в 1984 году я, с

помощью жены — спутницы, смог снова выбраться на отдых в Москву и попутно в издательство «Молодая гвардия».

Секретарь комиссии (конкурса) был на месте, встретил радушно и, усадив за отдельный столик, дал папочку с рецензиями на «Красные дни». Там было три отзыва: профессора — историка Н. Н. Яковлева, писателя (бывшего секретаря Шолохова) Ф. Ф. Шахмагонова и еще одного доцента МГУ, фамилии которого теперь уже не помню.

Мы с женой бегло просматривали одну рецензию за другой и глазам своим не верили: никогда ни на одну из моих книг (а их было уже около двух десятков) не было столь высоких, прямо сказать, блестящих и притом единодушных отзывов, как на этот раз. Бог, что ли, смилостивился к немощному от болезни автору, но рецензенты будто соревновались в высоких оценках.

Ф. Ф. Шахмагонов:

«Если говорить о художественной литературе, посвященной гражданской войне, то надо признать, что тот ее пласт, которого коснулся Анатолий Знаменский, давно звал к себе и исследователей, и художников. (…) В мою бытность секретарем Михаила Шолохова в 50–х годах к нему начали поступать очень серьезные запросы читателей. Михаил Шолохов не ставил перед собой задачи создания исторической монографии или исторической хроники. Поэтому он и не возвращался к тексту (начала 30–х годов), не вносил тех переделок, которые ему предлагались. Исторические неточности и в малом, и в большом как бы отошли в сторону, затушевались художественными достоинствами романа. (…).

История гражданской войны на Дону давно требовала пересмотра и некоторых фактов, и, конечно лее, концепции «донской Вандеи». Анатолий Знаменский взялся за это нелегкое дело, поднялся на редкостный в наше время писательский подвиг — резать поперек ложных взглядов на донские события…

Знаменский создал роман — хронику, он выбрал единственно возможный жанр для решения своей задачи — показа подлинной исторической роли казачества, для восстановления исторической правды…

Роман — хроника — сложное, многоплановое, полифоническое произведение, написано на одном дыхании, с большим мастерством, его историческая основа покоится на неопровержимых документах, его действующие лица, исторические лица выписаны убедительно, достоверно. Я уверен, что издание романа А. Знаменского явится крупным событием для советской литературы».

Н. Н. Яковлев:

«…Вероятно, М. Шолохов в «Тихом Доне» был первым, кто попытался приоткрыть завесу недомолвок, наброшенную на верхнедонское восстание… М. Шолохов поставил вопросы, но в силу определенных обстоятельств не смог дать на них полные ответы. Оно и понятно: помимо прочего, ему приходилось обозревать происходящее на Тихом Дону с учетом того, что писал, например, «в исторической записке Ленину товарищ Сталин», или указывать на «последствия пораженческого плана Троцкого».

А. Знаменский в наше время имеет возможность сказать больше, полнее, воздав должное Ф. К. Миронову, салю имя которого во времена сталинщины находилось под запретом…»

Пока мы читали и третью рецензию примерно такого же содержания, Дмитрия З. зачем-то вызвал к себе заведующий редакцией. Отсутствовал он долго, а когда возвратился, то на нем, как говорится, лица не было. Он как-то потерянно махнул рукой и положил передо мной форменную бумагу с грифом издательства. Потом отошел к фортке и закурил нервно.

В официальном ответе на мое имя говорилось:

«№ 19/100 10 октября 1984 г.

Уважаемый товарищ Знаменский А. Д.

В издательстве ознакомились с Вашей рукописью «Красные дни», присланной на конкурс им. Н. Островского. Благодарим Вас за внимание и творческое предложение. К сожалению, в ходе предварительного рассмотрения не было сочтено возможным рекомендовать Вашу рукопись к дальнейшему участию в конкурсе. Согласно положению о конкурсе рецензии не высылаются.

Рукопись возвращаем вместе с письмом.

Всего Вам доброго, зав. редакцией пропаганды (подпись)».

Я вопросительно посмотрел на Дмитрия З.:

— Что случилось?

— Кто-то доглядел, видимо… Тут ведь — тройной контроль…

— Почему же нельзя дать копии рецензий? — почти остолбенел я.

— Сказал: надо сделать такой вид, что этой рукописи у нас, мол, вообще не было…

— Но — хоть ксерокопии… можно снять?

— Не могу. Запрет. Выгонят с работы.

Жена положила тяжелую рукопись в сумку, мы стали собираться.

— Посоветуй хоть, как мне их заполучить? — кивнул я на тонкую папочку с рецензиями.

— Лучше всего обратиться к рецензентам лично. Я дам телефоны. Николая Николаевича вряд ли застанешь, он больше

на работе. А Федор Федорович всегда дома…

«Конечно, частные рецензии — не чета официальным копиям солидного московского издательства, но все же… Можно попробовать», — успокаивал я себя, записывая телефоны.

Жена дала мне таблетку валидола.

8.

Все это написано для «молодых» (сорокалетних) писателей, считающих, что их время пришло, а всех стариков — конформистов, мол, пора сбросить с литературного корабля кверху тормашками… Поскольку, они, мол, «сами себя загнали в резервацию…».

Конечно, смена поколений неизбежна, тут спору быть не может, но — к чему «базаровские» модификации, к чему бунт на корабле, когда корабль не только тонет при большом крене, но, возможно, уже утонул?

Во — первых, ложен тезис насчет «загона в резервацию».

Нет, все русские люди, в том числе, конечно, и писатели, родились в резервации, не подозревая об этом. Даже — в смертельном ГЕТТО коллективизаций и концлагерей. А духовная-то «резервация» русских в России приключилась давненько, чуть ли не со времен Петра Велико — проклятого, при котором, говорят, население Руси сократилось ровно наполовину… Потом было дворянство, разговаривающее на французском, а крепостных актеров и драматургов меняли на собак… Потом были какие-то реформы, Россия стала подниматься в мире, как исполин, и тогда ВНЕШНИЕ силы устроили у нас кровавую баню 1917–1921 годов, отголоски которой слышим мы до сих пор.

Но прорыв в духовной блокаде, пролом стены в той резервации был безусловно, и его совершили в культуре бывшие фронтовики, вернувшиеся домой под знаменами Великой Победы. Их трудно было прищучить и загнать обратно в хлев, с ними заигрывали, цацкались.

Их слабый, разрозненный порыв укрепил в значительной мере Генералиссимус своим знаменитым тостом: «За великий русский народ!». Но эта борьба с «правящей закулисой» была долгой, трудной и жестокой, со множеством жертв, которые трудно перечислить.

Да и много ль мы достигли на нашем литературном фланге?

Тесная, безгонорарная площадка «Литературной России», два — три журнала в Москве и — ни одного в Ленинграде…

Если уж распирает душу удаль молодецкая не ко времени, то

почему бы не напечатать сей меморандум нового поколения русских писателей ну хотя бы в «Литературной газете»?

Не напечатали бы, конечно. Потому что — чужая территория, «апрельский заповедник», так сказать… Есть еще журналы «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Юность», «Дружба народов», но ведь и там, простите, даже в переднюю не пустят, не так ли? Тогда к чему же эти телячьи взбрыкивания в тесной загородке, когда кругом сплошная «чужая земля»?

В старину у русских людей был культ предков, теперь, похоже, начинает нарождаться культ блудных сыновей, но дело тут не в каких-то наших обидах, а в глубокой тревоге: «Эти молодые так ничего и не поняли, не разглядели из-за своих «хлыстовских бдений», и им, видимо, придется сглодать ту же осинку, которую всю жизнь глодали мы…».

Оглянитесь, друзья, ведь совсем не устарела еще есенинская фраза: «В своей стране — словно иностранец!..» И предстоит вам еще очень тяжелая борьба отнюдь не с отживающим поколением собратьев по перу. Тут не спасут ни уклонения в какую-нибудь «модернягу», ни шараханья в пресловутый андеграунд (или как он там пишется?..)

Это время — увы! — не ваше, как и не наше…

…Но, может быть, вам все-таки интересно, как у меня сложились дела с книгой дома, в Краснодаре? Тоже ведь непросто.

Имея две положительные рецензии из Москвы и добыв одну в Краснодарском университете, я все же целый год чего-то выжидал, примеривался, ждал перемен после апрельского пленума ЦК…

В начале 1986 года в нашем книжном издательстве ушел на пенсию главный редактор, и сразу же, по традиции, возникла фракционная борьба за портфель, так как мы («почвенники») поддерживали кандидатуру старшего редактора отдела художественной литературы Владимира Н., выдвигаемую также директором издательства, а «космополиты» (будущие «апрелевцы») тут же, в пику нам, выставили кандидатуру молодого поэта, недавнего студента Г., ни дня не работавшего не только в издательстве, но даже в редакции многотиражки… (как говорил товарищ Буденный: «И вся-то наша жизнь — есть борьба…»). Страсти достигли самого высшего накала, и я бы об этой истории вообще не рассказывал, если бы она не была характерной для всей нашей борьбы как в прошлом, так, вероятно, и в будущем. Потому что на этом «огненном рубеже» мы столкнулись с фактом прямой измены именно в нашей среде. А как же иначе? Только так и погибает нация — вроде по

пустякам.

Один из самых талантливых и ревниво опекаемых в Москве наших прозаиков, к которому бережно относились и в книжном издательстве, вдруг «захотел перемен», «устал от рутины», и… поддержал противную сторону. И не просто поддержал, скажем, на писательском сборе или «высказал мнение» где-то, а — будучи беспартийным! — накатал заявление в бюро крайкома КПСС о «малограмотности ст. редактора издательства» и необходимости «омоложения кадров».

Но «омоложать кадры», понятно, можно по — разному. Можно подобрать такого послушного выдвиженца Г., который вообще не будет печатать литературных конкурентов Нарцисса-

перевертыша, что касается рукописи А. Знаменского, — и без того слишком много разговоров, то ее проще простого можно отправить на очередную консультацию в тот же ИМЛ, и — со святыми упокой!

Вот из-за этого-то и было писано заявление в крайком КПСС — уж не сомневайтесь.

Таковы нравы, таковы приемы самоутверждения тех, кого мы порой «выращиваем», обихаживаем, даже захваливаем от прилива чувств, а они, стервецы, даже понятия не имеют о честной игре или каком-то общем, всенародном интересе, для них эгоизм — на первом месте!

Как бы то ни было, позиция директора издательства в этом кадровом вопросе была поколеблена, и он обратился к партийной организации Союза писателей за помощью. Пошли ходоки к самому И. К. Полозкову, который, хорошо подумав, благословил «альтернативные выборы главного редактора в издательском коллективе»… По последней моде, так сказать!

Юный выдвиженец Г. благополучно провалился. Никто не пострадал. Книги Нарцисса — прохиндея благополучно принимались к изданию. Но вот досада: и роман А. Знаменского — тоже…

В 1987 году первая книга моего многострадального романа вышла к читателю (почти через 10 лет после написания!), а через год — вторая. Романом «Красные дни» заинтересовались в правлении Союза писателей РСФСР. «Роман — газета» открыла публикацией романа 1989 год. А военная секция СП СССР (В. Верстаков, И. Стаднюк, П. Ткаченко) выдвинула двухтомник на соискание Государственной премии России.

Примерно в это же время увидела свет в журнале «Север» и моя «лагерная» повесть «Без покаяния», пролежавшая в столе 25 лет. Вполне возможно, что некоторые рукописи и вправду не горят…

…Мы пережили труднейшие времена культа и застоя, но тогда ОСТАВАЛАСЬ НАДЕЖДА и был внутренний смысл писательского подвига. Сейчас же наступило более темное безвременье, когда наряду со всеобщим развалом и всеобщей деградацией общества ПИСАТЕЛЬСТВО КАК ПРОФЕССИЯ УПРАЗДНЕНО, возможно без возврата. Невежество правит бал, а прошлая «закулиса» ничуть не потеряла силы: Шолохова, вот уже в пятый раз, обвиняют в плагиате, и где — в «Новом мире»!

Раньше наши книги и «толстые» журналы читались и, естественно, раскупались той частью интеллигенции, которую принято называть трудовой: учителями, врачами, библиотекарями, учеными, инженерами, специалистами села. Но сейчас все эти люди находятся, как говорят, на грани выживания, им не до книг, они и в библиотеки стали редко заглядывать…

На какого же читателя рассчитывают нынешние «сорокалетние», утверждая, что «наше время — пришло»?

Может быть, на «новых русских ловкачей»? Но перед этой растленной категорией нелюдей Я ЛИЧНО МЕТАТЬ БИСЕР НЕ СТАЛ БЫ.

Да и они в нас не очень нуждаются. Что им до каких-то общественных проблем и высоких материй, с которыми они распрощались еще на молодежных тусовках! С них довольно и переводных комиксов, и той самой Анжелики, что в суматохе либеральных реформ села голой… в ежевику…

«Литературная Кубань».

№ 2, 3. 1997 г.

В РОДНЫХ МЕСТАХ (рассказ)

Нет, не о встрече с родным краем он думал, заказывая билет на поезд, — в станице он отдыхал всего два года назад, — его гнало из Москвы нетерпеливое и томящее желание: поскорее выбраться из этого адского котла бурлящих склок и самолюбий, этого современного Вавилона, сжигаемого изнутри молчаливой и подпольной «гражданской войной», корчами той мало кому из посторонних видимой общественной потасовки и неприкрытой резни, которую в интеллигентских кругах вокруг Дома писателей умудрялись называть почти невинным словцом «групповщина»… Какая к черту групповщина, когда ни нервы, ни сердца не выдерживают! Дмитрий Фурманов, прекрасный человек и комиссар гражданской войны, единственный из всех нас орденоносец, человек высокого ума и революционной отваги, не вынес мелких подлостей и крупных оскорблений, пал в неравной борьбе с толпой окололитературных «рвачей и выжиг», не дожив до тридцати пяти лет, вы только вдумайтесь! А Маяковский? О Сереже Есенине уж вспоминать не будем, сие запрещено чуть ли не на правительственном уровне… Написал человек кровью сердца обиду на клочке бумаги: «В своей стране — я словно иностранец!» — и покончил с собой. Да. Впрочем, из Ленинграда доходили всякие слухи, что и не сам покончил-то… Но об этом — тоже вроде запрещено. Теперь за Шолохова взялись! Этот еще мальчуган, лет двадцати шести — двадцати семи. Талант огромный, яркий, со своим лицом. Нашлись завистники — стали кричать, что он у кого-то украл рукопись. Эта подлая клеветническая сплетня поползла буквально по всему Союзу. Вот ведь псы!

Ну, хорошо, товарищи Авербах и Родов, если у вас есть сомнения по Шолохову и его книге, если вы хотите истины, так вы спросите у знающих людей, хотя бы и у меня, у писателя Серафимовича, — я уже старый человек и врать, а тем более клеветать не приучен! — я вам все и растолкую. Да, да, я ведь все знаю… О Крюкове там кто-то подымал речь? Отличный был, знаете ли, человек -

до революции! И — хороший писатель, кстати, друг Владимира Галактионовича Короленко. И мой бывший знакомый… Но отчего-то не пошел за революцией, что-то его отпугнуло! Что? Вот в этом и секрет, никто на это не ответит… Может быть, просто испугался вашего засилия в культуре, кто знает? И Крюков, простите меня, не мог написать «Тихого Дона», как не написали его, скажем, Короленко или Шмелев, или ваш

покорный слуга… Все мы дети своего времени, выше носа, как говорится, не прыгнешь! Шолохов — новое имя, новое явление в русской и советской культуре, вам с этим придется согласиться… Ах, вы в душе-то все это давно поняли, без меня, так сказать, но вам не хочется? Он вам мешает спокойно поедать литературный пирог, вести жизнь саранчи? Тогда, извините покорно, не суйтесь в мир большого искусства, жрите свой незаконно — грабительский пирог молча, ну, хотя бы застенчиво… Паситесь на газетчине или в каком-нибудь «Огоньке», у Кольцова, — он три должности тащит (в «Огоньке», «Крокодиле» и газетке «За рубежом») и за вами не углядит!

— Папа, ты о чем ворчишь? Пора бы уже и отключиться…

Сын Игорь, молодой инженер, только что закончивший институт и не имеющий, слава Богу, никакого касательства к бывшим пролеткультам и нынешнему РАППу, спокойно вел машину, положив сильные руки на рулевое колесо, называемое теперь почему-то баранкой, и по временам искоса поглядывал на отца.

К литературным делам он никакого отношения не имел, но знал тем не менее, что отец только что написал большое, раздраженное письмо в ЦК партии, в котором отказывался от всех постов в РАППе и редакции журнала «Октябрь» ввиду невозможности в дальнейшем участвовать во всей этой грязной, беспринципной и по сути антипартийной возне… И раздражение, как видно, все еще не покидало его душу.

— Ху — у… А я разве бормотал? — хмуро спросил старый писатель.

— Разобрать-то нельзя, но…

— Совсем, значит, старый стал, — повинился Серафимович и сел в машине прямее. — Знаешь, почему-то снова о Фурманове вспомнил… А стоит о нем подумать, тут же кольнет в душу и память про Толю, То — лю нашего… незабвенного…

Теперь Серафимович уже непритворно сморгнул слезу, потому что вспомнил о безвременной гибели старшего сына, потерявшегося еще в девятнадцатом году, в круговерти гражданской войны, заморенного в каком-то тифозном бараке…

— Успокойся, отец. Не надо, — сказал Игорь.

— Да. Надо крепиться, — кивнул в ответ Серафимович и стал глядеть сквозь стекло на приближавшийся по правой стороне площади Казанский вокзал.

— Надо настраиваться теперь на отдых, — сказал сын, выключив зажигание напротив дверей с надписью «Зал для пассажиров».

— Надо. Что ж поделаешь… А у тебя-то время есть ныне?

— Дождемся посадки, конечно, — утвердительно кивнул сын.

Он взял из багажника дорожный чемодан отца, сам Серафимович прихватил лишь сеточку с продуктами на дорогу, которую очень метко окрестили в очередях авоськой, и они переступили порог зала ожиданий.

Переступили и — остановились в нерешительности едва ли не у самого входа, потому что дальше ступить было некуда. Прямо у ног лежали и сидели, скорчившись, какие-то люди, похожие на нищих или бродяг, и было их так много, что они заполняли весь огромный зал — что называется, под завязку. Некоторые теснились вдоль стен на старых деревянных скамьях со спинками, дремно склонив головы и привалившись друг к другу, а те, кому не хватало скамей, устроились на прохладном по летнему времени полу. Какие-то старики крестьянского вида горбились на дорожных сундучках и на мягких, туго набитых каким-то барахлом чувалах. На лестнице, что вела на второй этаж, вдоль мраморных ступеней, лежали, вытянувшись, подростки, очень похожие на беспризорников. Почти не видно было городских чемоданов, а только грубые укладки, чувалы, груды тряпья, немытые, всклокоченные головы, опущенные со странной покорностью то ли в ожидании вокзаль

ного звонка, то ли иерихонских труб перед концом света… В полусумраке почти нельзя было рассмотреть лиц, а только одни сникшие плечи, склоненные в полудреме головы, опущенные руки, бессильные от длительного бездействия в этом странном Ноевом ковчеге посреди столицы…

— Что это? Откуда столько народа? — почти неслышно спросил отец, как бы не доверяя стареющим глазам и придерживаясь за сыновний локоть. — Куда они едут? И давно — так?

— Едут… — с неопределенностью пожал плечами сын. — Наверное, с весны это началось… Недород…

— Да. Точно как в девятнадцатом, когда от Деникина бежали. А теперь ведь уже тридцать второй! И вот… Слушай, может быть, уже и на крышах едут?

— Вряд ли. С крыш теперь милиция гонит.

Старый писатель все смотрел на полуживое лежбище, где не разобрать было осмысленных лиц, и медленно осознавал нечто такое, что приводило в смятение его ум и сердце: «Все это безмолвное скопление массы походит на беженцев гражданской войны… Боже, но ведь никакой войны нет, идет в стране индустриализация, колхозы укрепляются, полным ходом идет строительство Беломорско — Балтийского канала… И вдруг — такое хаотическое движение на железной дороге. Куда едут эти

люди?..».

— Здесь пристроиться негде, давай лучше переждем на перроне, — сказал Игорь и потеснил отца к двери.

— Да. Пожалуй, — согласился Серафимович.

Недалеко от выхода они увидели постового милиционера. Серафимович показал милиционеру удостоверение, и тот провел их какими-то боковыми переходами на перрон. Народу было тут поменьше, да и на путях уже стоял, ожидая посадки, сталинградский поезд.

— Какой у нас вагон? — спросил Игорь.

— Одиннадцатый… — сразу отчего-то заторопился, доставая из часового кармашка картонный билет с компостерной просечкой, Серафимович. — Я просил плацкартный.

— Далековато все же. Но, я думаю, в Себряково встретят и помогут.

Серафимович вздохнул и медленно побрел за сыном.

Раньше вагоны окрашивались в разный цвет: общие — в красный, второго и первого класса — в зеленый и синий. Теперь все вагоны снаружи были неотличимы, хотя стоимость билетов все же была разная: были места в них общие, то есть «сидячие», и были «для лежания» — с особой плацкартой.

Игорь хотел шагнуть с чемоданом в тамбур одиннадцатого вагона, но в дверях как бы случайно выросла тетка в железнодорожной фуражке с веником в руке и мрачно сказала:

— Погодите-ка. Не на пожар. Посадки еще не было!

— Потом же будет сутолока, — сказал Игорь, оправдываясь.

— Мало б што!

— Вагон — плацкартный? — на всякий случай осведомился Серафимович, желая в то же время невинным разговором расположить к себе хмурую тетку.

— Комбинированный, — неохотно отмахнулась она. — Плацкартные — в середке, седьмой и восьмой, тюря!

— Позвольте… Но я заказывал плацкартный вагон, как же?

— Мало б што ты заказывал! Теперя и на третьих полках едут вон, не обижаются!

Игорь вместе с чемоданом отступил на шаг и оглянулся на отца. Тот с недоумением посмотрел на номерной знак под вагонной дверью, потом на картонку билета и белый листок плацкарты.

— Все верно, одиннадцатый вагон… — пробормотал он, топорща седые усы. — Но она ведь дважды повторила, что вагон — плацкартный!

— Кто — она? Эвакуаторша?

— Ну да! Такая милая девочка из нашего МАППа, и совсем

молоденькая, как библейская Эсфирь! Право, не могла же она ошибиться!

— Может, ей просто всучили в предварительной кассе?

— Да Боже, знает же она все вагоны! Какой — общий, какой — комбинированный, какой — плацкартный!

— Что же теперь… Не бежать же обратно. Полка все же тебе обеспечена, отец…

— Наверное, так. Перебьемся и в комбинированном…

Кондукторша замела сор, прислушалась к их разговору и снизошла до милости:

— Заходите уж, ладно. Скоро и звонок к посадке.

Сначала вагон был наполнен пассажирами умеренно и по билетам, но уже за Люберцами вдоль проходов засновали какие-то мужички с котомками и женщины в застиранных и будто изжеванных платьишках, нечесаные и усталые, — и тех и других от обыкновенного нищенства отличало лишь то, что они не просили милостыни. Это были какие-то вынужденные странники, ищущие некий Ташкент — город хлебный, и чем дальше на юг, тем их становилось все больше. За Мичуринском и Грязями стали появляться грязные, подпухлые, немощные старики и дети — попрошайки, а в разговорах, доносившихся с нижних полок, чаще других повторялись слова «недород» и «голод»… Иногда можно было увидеть в проходе и какого-нибудь районного служащего, ужасно пронырливого и быстрого на ногу человечка с портфелем или папкой под мышкой. Казалось, вся голодная Россия колготится в великом бедствии и великом терпении на глазах Серафимовича, и не было никаких сил ни понять этого внезапного бедствия, ни помочь в чем-то этим людям. Туга, как видно, была судьба общая, неделимая, горе без края и конца. Такое горе переносят молча.

Вспоминались стихи Волошина, теперь доживающего век в Крыму:

Заклепаны клокочущие пасти,
В остывших недрах мрак и тишина.
Но сказками и судорогой страсти
Здесь вся земля от века сведена.
И та же страсть, и тот же мрачный гений
В борьбе племен и смене поколений…

«Да нет, пожалуй, — сопротивлялась усталая мысль, — борьбы уже никакой нет, все уже давно положились на милость

победителей… Но милости, увы, не будет!..»

Лежа на своей полке и ощущая всем телом бег вагона по рельсам, вслушиваясь в перестук колес, Серафимович пробовал уходить мыслью от всего этого. Вспоминал давнее — раннюю юность свою, Санкт — Петербург, дело мальчиков — студентов: Васи Генералова, Саши Ульянова, Пахомия Андреюшкина, казненных за покушение на жизнь царя… Написанное ими Воззвание к казакам войск — Донского, Кубанского, Уральского, Сибирского, которое распространял среди студентов и в гвардейских полках он, первокурсник. Беглый и разборчивый почерк Саши Ульянова: «Вольное казачество было колыбелью русской свободы. Вы подавали пример всему народу, как следует жить вольному человеку… На какую же сторону вы встанете? Идите с нами вместе выручать Русскую Землю от неволи!..». Господи, как давно это было!

Вспоминал и свою ссылку на мезенский север, затем староказачью провинцию, станицу, своего друга, тоже поднадзорного, студента Гордеева, которого он называл Руфычем… Этот Руфыч с хутора Буерак — Сенюткина и привел к нему однажды своего хуторянина, писаря станичного правления Филю Миронова, чтобы подготовить его к экстернату в гимназии. Как раз до зарезу нужны были деньги, Александр только что вернулся из ссылки и сидел на шее матери, без гроша в кармане.

Миронов… Детская, святая душа, романтик до седых волос, странный, единственный в своем роде всадник — гуманист с душой непорочной и — с окровавленной шашкой над головой. Ни разу не покрививший совестью за всю жизнь! Впрочем, однажды, когда он произносил последнее слово подсудимого в Балашове, где его распинали перед ревтрибуналом за сумасшедший «Саранский мятеж», многие подумали, что он кривит душой, произнося здравицу власти, судившей его, и даже простили по — человечески: дело-то пахло смертью, и ставка была слишком велика! Но он и тогда был искренен, усмотрев некую свою ошибку в понимании предшествующих событий… Что же говорить, гуманист да еще с шашкой в руке, — для наших ли времен?

Вспомнил и бедного, заеденного чахоткой политкаторжанина Ковалева, комиссара дивизии… Боже мой, ни о ком из них теперь даже и по праздникам не вспоминали, потому что Миронова посчитали авантюристом и «врагом народа», убили в тюрьме, а Ковалева нельзя вспоминать одного, за ним тянулась вся донская плеяда: Подтелков, Кривошлыков, Кузюбердин, Макаров, Автономов, Дорошев, да мало ли кого вспомнишь, когда не рекомендуется вспоминать ни одного! Могила Ковалева в

райцентре Фролове цела ли? А ведь был первый революционер на Дону, политкаторжанин, делегат Второго съезда Советов!.. Дорошев, правда, еще жив, работает в Ростове каким-то начальником по водохозяйству, но и ему при очередной чистке, говорят, пришлось «выправлять справки» на право называться красным партизаном!

Вспомнились и торжества в Москве в 1918 году, первая годовщина Октября, скульптор Коненков, с которым стояли у кремлевской стены, смотрели, как Ленин с лесенки открывал барельеф «Памяти павших», слова реквиема, написанные совсем молодыми, прекрасными мальчиками Сергеями — Есениным и Клычковым… Где они? Что же стряслось с нами, отчего такая злая толкотня и неразбериха повсюду? Отчего такой голод, ведь недорода как будто и не было… Да и можно ли было предполагать что-либо такое всего два года назад? Писатель ездил на родину тогда, наблюдал необыкновенный подъем сельских партийцев, торжественную встречу горожан — двадцатипятитысячников, ехавших сюда для помощи местному активу… Тогда и начал писать серию очерков для будущей книги «Колхозные поля», в основном захватывая в поле зрения лишь районную верхушку, инициаторов и организаторов, их командировочную жизнь, бессонные ночи. А в народ думал пойти чуть погодя, когда будут первые обнадеживающие итоги «великого перелома»… Но вышло нечто непредвиденное, чего никто и предполагать не мог…

Папка с бумагами и рукописью лежала в чемодане, а чемодан сын Игорь водрузил на третью полку так, чтобы его краешек был виден снизу и можно было прислеживать в дороге. Игорь сказал на прощание с невеселой усмешкой:

— За чемоданом все-таки присматривай, а то нынче на железной дороге это случается. Шпаны развелось много.

И в самом деле, познание эпохи началось, собственно, с посещения вокзала и этой суточной качки в переполненном, жарком вагоне. Огорчило, насторожило и как бы отняло силы и душевную бодрость. Он лежал на своей полке, на ватной подстилочке, и молча смотрел вверх, вслушиваясь в нечаянные разговоры и беглые реплики из прохода и с нижних полок.

По вагону прошли милиционеры, проверили у кого-то документы. Разговоры на какое-то время оборвались, люди затихли. Потом внизу вновь возникла беседа про сельские дела. Старческий голос устало спрашивал кого-то сидящего рядом:

— А у вас-то какие беды приключились? На погорельцев смахиваете, милые… Отчего это с места снялись?

— От произволу, болезный, от произволу, — ответил тихо

голос какой-то старушки.

Серафимович вздохнул и устало прикрыл веки. На память пришла вдруг давняя фраза Льва Толстого: «Всю правду знает только сам народ…». Воистину так!

Серафимович закинул руки за голову и вновь тяжко вздохнул. И тут ему вдруг показалось, что его чемодан медленно съезжает вдоль полки, передвигается в сторону прохода. Что за напасть в самом деле, ведь в чемодане, кроме нужных хозяйственных вещей и смены белья, еще и рукописи! Наброски и черновики, над которыми надо еще работать!

Чемодан тихо и медленно сдвигался к краю…

— Кто там? — беспокойно привстал на своем тюфячке Серафимович.

Ответа не последовало, но чемодан продолжал двигаться. Все представлялось, словно в дурном сне.

Со старческим ворчаньем и кряхтеньем Серафимович слез со второй полки и, зайдя из прохода, медленно поднялся по железным скобам — ступеням наверх. За своим чемоданом он увидел мальчонку лет двенадцати, коротко стриженного, худенького,

в рваной рубашонке и столь же заношенных штанишках. За чемоданом, поставленным на ребро, мальчонка был едва виден.

— Ты чего тут делаешь? — как-то машинально спросил Серафимович.

— Не видишь, от мильтонов притыриваюсь, — спокойно и безбоязненно ответил малец и пригнулся за чемоданом.

— Вон что… А чего ты их боишься? — уже несколько подобрев, осведомился старик.

— Так я — беглый…

— Откуда же?

— Из дома — коммуны Клары Цеткиной, не знаешь, что ль?

— Откуда же мне знать… Но дело-то, выходит, серьезное, — усмехнулся Серафимович. — А я-то за чемодан хотел уже тебе уши нарвать!

— Это ты брось, дядя, — не те времена! — сказал мальчишка.

— Я тебе не цыпленок жареный, а свободный гражданин!

— Это понятно. На том, как говорится, стоим. Но, извини, за чемодан я… могу быть спокойным?

— Будь спок, — сказал мальчишка, ложась вдоль полки на живот. — Никуда твой угол не денется. Мне тут хорошо.

— Лады. Так и договоримся, — сказал Серафимович и стал медленно спускаться вниз.

На своей полке он достал из-под подушки уже порядочно ополовиненную в дороге авоську с домашним припасом, нашел в

пакете зачерствевший пирожок с картошкой. Подал наверх:

— Пирожок хочешь?

— Еще как! — обрадованно схватил грязной рукой пирожок беглый парнишка. — С прошлой шестидневки, считай, голодный!

— Господи, господи… — крестясь, вздохнула внизу старушка.

Серафимович долго не мог устроиться на мягкой подстилке,

отчего-то заломили мышцы рук и ног, нехорошо ныло сердце. Надо было бы принять капли, но пузырек доставать надо было опять-таки из чемодана, а чемодан снимать с верхней полки не хотелось.

Да и с каплями тут, при людях, возиться было как-то не с руки.

«Боже мой, — сокрушался Серафимович, поглядывая на верхнюю полку, где едва слышно возился бездомный мальчишка. — Он — «свободный человек», и он — беглец от этой пустословной и ничем не подкрепленной «свободы»! Не есть ли это главная суть, некий феномен наших дней?..».

Недавно вычитал у Рабиндраната Тагора: «Каждый рождающийся ребенок — свидетельство от Бога, что Бог еще не утратил веры в человека…». Это красиво по мысли, афористично и, по — видимому, верно. Но, увы! Это предопределение не спасает приходящего в мир сей от рассеянного повсюду зла. В особенности, «в минуты роковые…».

Когда пришло время собирать вещи, Серафимович снял свой чемодан вниз и заглянул на третью полку. Там было пусто, никого не было. Когда и как исчез мальчуган, никто не заметил.

«В самом деле, да уж не приснился ли он мне еще с ночи? — подумал в растерянности писатель, по — прежнему чувствуя побаливание в сердце. — Но чемодан-то оказался на самом краю полки не без причины, да и пирожок… Все как наяву, все — без обмана!..».

На станции Себряково его ждала райкомовская легковая машина, пока что единственная на весь район.

Приехал сам секретарь: воспитывалось особое, нижайшее отношение местного руководства к прославленным и просто именитым людям. В этот же раз была и официальная причина тому: все уже знали, что к семидесятилетию писателя станица Усть — Медведицкая будет переименована в город Серафимович.

Всю дорогу секретарь пытался разговорить усталого и чем-то опечаленного старца, но Серафимович хмуро отмалчивался, дул в рыжеватые встопорщенные усы, будто с морозу. Кряхтел, оглядывая иссушенную степь, зиявшую там и тут красноглинистыми оскалами яров. Когда за Арчединской переезжали Медведицу, он не узнал реки. Она усохла чуть ли не

вдвое, а займище на луговой стороне было так прорежено вырубками, что просто беда…

И лишь когда подъезжали к переправе через Дон, спросил,

как в этом году с хлебом. (Стоял июнь, колосовые еще только желтели…) Когда секретарь не совсем понятно ответил, что урожай неплохой, но встает, мол, трудная задача — уберечь хлеб от «стригалей», Серафимович будто очнулся и даже вскинулся на мягких пружинах:

— Это как — от «стригалей»?

Секретарь с удивлением посмотрел на него. «Странный дед, совсем отстал от жизни в своей Москве!..». И без особого, правда, воодушевления объяснил, что время в здешних местах стоит, в общем-то, голодное, и очень трудно поэтому дотянуть до новины. Естественно, что многие несознательные граждане, у которых дети пухнут и умирают с голоду, берут, значит, большие портновские ножницы, а то и серпы, и выходят по ночам в поле, стригут колхозную ниву, самые колоски. Зерно только еще наливается, в молочной стадии, а все равно, сволочи, стригут и тянут домой, какую-то кашу варят из этих колосьев!

— Объявлена широкая борьба против «стригалей», — сказал секретарь почти казенно — бюрократическим тоном, поглядывая в затылок шоферу и, видимо, смущаясь. — На полях строятся наблюдательные вышки из жердей, вроде пожарных. Организуется охрана днем и ночью.

— Милиции на это хватает? — рассеянно как-то спросил писатель.

— Зачем? Комсомол привлекаем, пионеров. Сторожат неплохо, — ответил секретарь.

— Родителей, значит, ловят? Отцов и матерей?

Серафимович уловил в этих «мероприятиях» нравственное

нарушение, которое никто бы не смог обойти или не заметить. Но секретарь ничего особенного не усмотрел в вопросе старика.

— А как же! — воскликнул он. — Был ведь почин, Павлик Морозов в Сибири дал хороший пример, ну и — внедряем.

— Ну, если действительно добрый урожай, то его портновскими ножницами не потравишь… Тут другое. Уборка ведь впереди, а люди голодные…

Секретарь на это ничего не ответил.

Когда выезжали к Дону, и уже показались крыши домов на высоком обрыве по ту сторону, старик поинтересовался:

— Сколько народу нынче живет в станице? В райцентре то есть?

— Тысяч шесть с небольшим, — сказал секретарь, не понимая

значения вопроса. Он был нездешний, по — волжски или по — северному окал.

— Н — да, — снова прогудел Серафимович. — А было при царе — пятнадцать! Вот те и «город Серафимович»!

— Будет, будет обязательно город, — сказал секретарь уверенно, с некой машинальностью. — Обстроим, вымостим улицы, техникум откроем, курсы разные. Курорт можно, на базе бывшего женского монастыря…

— Курорт — это ничего… Для стариков. А что теперь у нас в бывшем монастыре?

— Не пустует, — сказал секретарь. — Пока там колония малолетних. Перевоспитываем беспризорщину всякую.

Серафимович тут припомнил случайного своего спутника с третьей полки, голодного и замурзанного парнишку, и вздохнул с тревогой:

— Надо поглядеть будет. Кормят-то хоть ничего мальцов?

— Кормят по норме, но беспокойства через них много. Перелазят через стену, воруют по огородам, иногда и по квартирам… — секретарь заметил тоску на лице писателя и переключился на другое: — Дом ваш приготовили, побелили… Отдыхайте, пишите новые книги! На радость нашему растущему читателю!

Серафимович молча смотрел на приближавшийся паром, через реку, искал там и здесь обрис знакомой часовни — усыпальницы с зеленой луковкой купола и не находил. Еще недосчитывался каких-то старых деревьев, так что берег казался незнакомым и чужим.

— А где же часовенка с колодцем? — спросил он.

— Это которая?

— Тут, на берегу, стояла такая небольшая часовня, — Серафимович коротко рассказал о давнем предании, о разрушении Соко

линой горы от грома небесного и погребении заживо монаха чернецкого монастыря у подножия той горы. О костях предков, вымываемых донскими волнами из песчаного крутояра выше станицы и выносимых как раз сюда, на косу. Монашки, в свое время, конечно, подбирали эти кости и складывали в сухой колодец в той часовне…

— Старая легенда. Народная, — сказал Серафимович. — Жаль, что часовня пропала.

Они были уже на пароме, песчаная коса отдалялась, под ногами мягко оседала и поднималась палуба. Секретарь смотрел на приближавшийся крутой берег, и на лице его как бы навечно замерла тень районных забот, он ответил на вопрос

Серафимовича без всякого интереса:

— Что ж часовня. Сгорела, наверное. При мне здесь ее уже не было. Да и никто разговоров про нее не подымал: церковное так или иначе должно быть разрушено.

— Это — не церковное, — с досадой, как-то заглотнув слова, почти про себя буркнул Серафимович.

Он приехал в станицу отдохнуть и поработать, но ему не писалось. Папка с очерками двухгодичной давности под названием «Колхозные поля», лежавшая по левую руку на столе, почему-то вызывала досаду. В дневнике признавался: «Тянет писать, а сядешь — ни черта, пусто в середке!». Пусто, без сомнения. И даже больно.

Дни проходили больше на рыбалке или в прогулках за станицу. В лугу и кругом по степи кулигами выметнулся в этом году медонос деревей, называемый еще тысячелистником, но цвел только розовыми корзинками, и не медовые запахи источал, а скудную полынную горечь. То был деревей — кровавник, предвестник тяжкого лихолетья.

Перед самой жатвой прямо по спеющим хлебам вдруг ударили проливные дожди. «Как снег на голову…» — удивлялись люди. Зерно в колосьях «потекло», уборка задерживалась, люди жили с огородов, зимы ожидали со страхом.

Многие исподволь стали приучаться к мелким кражам.

В августе появилось в газетах знаменитое постановление от 7–го числа об уголовной ответственности за расхищение социалистической собственности. Стали судить показательными процессами «стригалей» и других посягателей на коллективное хозяйство. В первые же дни народный дом набивался любопытными дополна, суд пропускал за день по десятку дел. Толпа не убывала, потому что из-за ненастья людям нечего было делать. Замечал Серафимович и специальные афиши об этих процессах, иногда прочитывал, идя в лавку за солью или спичками.

Одна фамилия показалась ему даже знакомой, но за возрастом память уже стала ослабевать, и он хорошо не мог вспомнить, кого именно привезли на суд с дальних хуторов. Афиша висела на заборе у пустой сельповской лавки:

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Завтра, 18 августа 1932 года,
в нардоме
состоится показательный суд
НАД ЗЛОСТНЫМ РАСХИТИТЕЛЕМ ЗЕРНА

жителем станицы Распопинской СКОБИНЕНКО А. И.
Пойман ЮНОЙ КАВАЛЕРИЕЙ с поличным
у общественного амбара. ПОЗОР ВОРУ, МЕШОЧНИКУ
И ПОДКУЛАЧНИКУ!
ВСЕ на общественно — показательный суд!

После говорили, что этому Скобиненко приварили будто бы десять лет Соловков, но Александр Серафимович о нем как-то сразу же позабыл, потому что суд этот был не первый и не последний, афиши обновлялись у нардома и у лавки едва ли не каждый божий день. Да суть дела была для старого человека не столь уж пугающа: он понимал, что подобные сроки — десять лет! — давались только для устрашения, по свежему следу, так сказать, а спустя время их будут смягчать, сроки скашивать либо применять какую-нибудь амнистию. Старику хотелось добра и справедливости.

Население, однако, не разделяло таких надежд, тюремные сроки воспринимались массой со страхом и всей болью, у распахнутых по — летнему дверей нардома вой стоял пронзительный, почти заупокойный. Бабы голосили и судачили, как и во все времена, в полном недоумении: «А то чего ж, милушки, ведь некуды ж ему деваться-то было! Ведь сусликов-то ишо с провесни поели, а отруби до Покрова кончились, а зарытое в земле погнило, а речные ракушки уж не спасают, от них народ вон ишо больше пухнет, а дети-то кричат, слезьми умываются, куды ж ему деваться-то было?..».

В толпе стоял болезненный ликом бывший учитель Воскобойников, недавно изгнанный из школы (между прочим, он же — бывший поп — расстрига), и, воздев руку над головой, вещал по Библии:

— Не доверяйтесь, братья, словесному обольщению от диавола! Было с людьми все это, и — не раз! Вспомните Далилу иудейскую! Обольстив Самсона — богатыря, она выведала секрет его силы неимоверной, а затем предала его филистимлянам. Самсона заковали в цепи, выкололи ему глаза и выставили на посмешище. Был тоже суд неправедный, братья, а затем Самсона столкнули в подземелье, где, прикованный к конному приводу, он обречен был вращать жернова! Такова цена простоты нашей, Господи…

На скамью подсудимых попадали иной раз даже и заслуженные люди, красные партизаны, бывшие комбедовцы, ответработники из райпотребсоюза, заготконторы, заготживсырья, у которых обнаруживалась растрата или недостача. Постановление «от седьмого — восьмого» никого не миловало.

Иной раз вечером, проходя мимо милиции, Серафимович слышал из камер предвариловки (где сиживал в 1906–м Филипп Миронов, подъесаул, и откуда его народ выносил на руках) тихое, раздумчивое, дозволенное пение. Хором пели те, кто ждал суда… А песни были все больше старые, но почему-то не казачьи, а лишь каторжанские или революционные — про колодников и байкальский ветер баргузин и недавние — про гражданскую войну. Они напоминали Серафимовичу прошлое, выжимали слезу. «Там вдали, за рекой, загорались огни… Сотня юных бойцов

из буденновских войск на разведку в поля поскакала!». И странное дело! Если на улицах и митингах о Миронове не полагалось и даже опасно было вспоминать, то в тюремном пении вместо «буденновских» всегда выговаривалось «мироновских» войск — без всякого страха. Тут был уже «фольклор», а с фольклора какой спрос?

А то еще пели протяжно — трагическую «Под частым разрывом гремучих гранат…». Гудели мрачные голоса обездоленных людей, сидящих под замком, словно из бочки, и сквозь закрытые ставни тюгулевки просачивались слова той песни:

Мы сами копали могилу свою,
Готова глубокая яма…
Над нею стоим мы на самом краю —
Стреляйте вернее и прямо!

Невероятный, совершенно потрясающий подтекст, понятный, вероятно, не только одному писателю, возникал от сопоставления слов этой народной песни с фактами дня, даже со столичной пресловутой «групповщиной» и просто хлебными карточками на заводах — в самое, казалось бы, мирное и благополучное время… Все это подавляло разум и волю. Серафимович уходил подальше от этого места, от своей жестокой памяти, скрывался во тьме слякотной улицы и шел с печальной усмешкой отдыхать домой.

Нет, не писалось; никакого нового Потока — ни железного, ни человеческого — не принимала душа, вот разве какой-нибудь вавилонский камнепад, грохот всеобщего развала, треск лопнувшей от перенапряжения земной тверди…

В погожие дни уходил на песчаную косу, в одиночестве отогревал под солнцем пристывшие еще в Москве кости. И ждал писем — то из Москвы, от Новикова — Прибоя, Ставского, а

больше — из Средней Азии, куда уехала с какой-то экспедицией студентка — заочница Надя, которой он последнее время покровительствовал и как-то незаметно, по — старчески даже увлекся. Смешно признаться, но…

Или, может быть, приедет Миша из Вешенской?

Грызут, конечно, его московские «интеллигенты», но — ничего. Парень не из робких, крепыш и, главное, вовсе лишен интеллигентской рефлексии, не знает нравственных «комплексов», в общем, его хватит надолго! Мал, правда, росточком, зато уж удал, как говорится, и здоровья — и физического, и духовного — в нем на десятерых! Смотрел старик на него и радовался в тот раз… Привозил Миша новые главы, куски из будущих томов «Тихого Дона», читал глухим, напряженным голосом, ждал, разумеется, похвал, потому что каждый писатель, даже юный и сыроватый еще, знает, конечно, где у него получилось хорошо, а где — недотянуто… Но у Шолохова нет проходных мест, какой-либо пустоватости или слабинки, вот в чем секрет! Серафимович запомнил с ходу один абзац наизусть, и теперь, когда тоска начинала когтить душу выше всяких сил, когда уходил один в степь, к горе Пирамиде, то прикладывался к этим словам, «стихам в прозе», как жаждущий к роднику с живой водой:

…Степь родимая! …Родимая степь под низким донским небом! Вилюжины балок, суходолов, красно глинистых яров, ковыльный простор с затравевшим гнездоватым следом конского копыта, курганы в мудром молчании, берегущие зарытую казачью славу… Низко кланяюсь и по — сыновьи целую твою пресную землю, донская, казачьей нержавеющей кровью политая, степь!..

Старый человек, он неслышно шептал иссушенными губами вещие слова о воинской доблести и славе, от века зарытой в землю, о нержавеющей крови тех, кто пал за эту землю. И тогда на минуту отходило сердце, становилось как будто легче, являлась надежда на будущее. И синие, густые облака на горизонте, предвещавшие грозу, как бы расчесанные наискось ветром, уже казались ему очертаниями некой долгожданной воинской рати, выходящей из-за горизонта с пиками и острыми шеломами спасать русскую землю…

Но тут он всякий раз вспоминал о сыне, Толе, девятнадцатилетнем комиссаре, сгинувшем в неразберихе гражданской, то ли от тифа, то ли от козней скрытых врагов, кто знает. И тогда очертания синих туч на краю степи и гора Пирамида, и кустики деревея — кровавника, цветка, не оправдавшего надежд на сухое лето, начинали вдруг явственно дрожать и размываться в его глазах, наплывала горячая влага

слез, слепила его.

Старый человек плакал. В одиночестве, не сдерживая слез.

И чтобы прийти в себя и успокоиться, садился на белый, обглоданный ветрами камень — валун, доставал из кармана куртки тетрадь, начинал писать тайное письмо в далекую, придуманную им, туркестанскую степь.

«Надя!.. Уезжал из Москвы в подавленном настроении. Ехал и не знал, доеду ли куда-нибудь. Теперь с азартом, озлобленно восстановляю себя…

Плохо, дожди. Гора к Дону — купаться — страшно скользкая. И когда всходишь по тропинке у самого края оврага — так бывает скользко, и руками вцепишься в разъезжающуюся глину, а сердце сожмет приятно раздражающий холодок — одно неверное движение, и…

…Милая, никогда не висни на подножках!..

Пишу тебе в степи, справа стеной сияет дождь, слева гора Пирамида — на верхушке башня из переплетов балок, геодезический знак, могилы побитых в 19–м году белых казаков, на которых тайно — цветы.

Должно быть, меня будет хлестать дождь.

Сижу, поглядываю, тут недавно выскочили из оврага, зарезали человека — шел с портфелем на хутор. У меня в кармане револьвер.

Хлеб гибнет от дождей.

Соскучился по солнцу… А дождь надвигается неумолимо, гроза.

Александр».

ПОКА НЕ ПОЗДНО

Еще не все.
Еще не отпылала
Над Родиной кровавая Звезда.
Еще толпа, как видно, не познала
Всю меру самоедства и стыда…

Еще народ бежит за демагогом,
Стоит покорно очередь в кабак;
Отважно спорят Гога и Магога,
И, рот раскрывши,
Слушает простак…

Гарцуют по эфиру чужебесы,

На клевету наматывая срам,
И шарлатанят рыночно балбесы,
Не думая платить по векселям…

Наш нищий быт в труху поистончила,
Как саранча, транзитная орда…
И кажется, что никакая сила
Нас не спасет от Страшного Суда.

И лишь в ночи,
Когда угомонится
Земная тварь, не каясь,
не молясь,
Над грешным миром тихо
заструится,
Как лунный свет, невидимая
связь:

Летучий звук безгласого
моленья,
Для правды приоткрытые уста,
Предощущение единства
и прощенья,
Подлунный блеск
Соборного креста.

«Кубанские новости». 1998 г. 24 октября

О ПРОФЕССИИ ПИСАТЕЛЯ

…Ремесло не из легких… тем более, что ни одной книги, ни одного рассказа не было опубликовано без спора и взаимного «нажима» автора и редактора, из-за сложности содержания. А без сложности, без остроты, я не умею да и не хочу.

(Из письма Андрею Косову, другу детства.)

10.04.1972 г.

Чтобы откликнулась душа, надо сообразовываться с содержанием, с художественной образностью.

(Из письма друзьям.)

Меня беспокоит весьма распространенная глупость некоторых «очевидцев событий», которые сидят на фактах, как собака на сене, и боятся что-то утерять, какой-то свой приоритет. Тут уже речь не о защите правды, а об элементарной выгоде от этой правды. Люди не понимают, что в настоящее время (оно может тянуться долго) служить этому делу можно только бескорыстно. Выгод ждать не приходится, будут пока основательные шишки…

…Я буду писать даже после десяти романов на эту тему (На тему «Красных дней» — В. Р.), потому что писать собрался по-своему. У меня в прологе будет встреча больших людей России… И мой Миронов не просто большой военачальник… Он тем и велик (да, велик!), что он Человек с большой буквы! Вне времени даже, вообще.

(Из письма А. Ф. Миронову, сыну командарма.)

10.01.1972 г.

Торжественное открытие мемориальной доски
в Краснодаре на доме по улице Красной, 145/1,
в котором жил А. Знаменский
Скульптор – Н. Бугаев